



## Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад отдельной книгой в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико-психологическую ценность. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

---

- [Е. Ф. Литвинова](#)
    - 
    - [Предисловие](#)
    - [Глава I](#)
    - [Глава II](#)
    - [Глава III](#)
    - [Глава IV](#)
    - [Глава V](#)
    - [Глава VI](#)
    - [Глава VII](#)
    - [Глава VIII](#)
    - [Глава IX](#)
    - [Глава X](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
-

**Е. Ф. Литвинова**  
**Софья Ковалевская. Женщина –**  
**математик**  
**Её жизнь и ученая деятельность**

*Биографический очерк Е. Ф. Литвиновой  
С портретом Ковалевской, гравированным в  
Лейпциге Геданом*



## Предисловие

В настоящем очерке мы предполагаем ознакомить читателей с жизнью и научной деятельностью Ковалевской. Во избежание недоразумения считаем нелишним сказать, что очерк этот предназначается для людей хотя и не обладающих никакими познаниями по высшей математике, но имеющих общее образование.

Само собой разумеется, что при составлении нашего очерка мы воспользовались всем напечатанным Ковалевской и о Ковалевской в русской и иностранной литературе; мы дополнили и осветили всё это тем, что нам известно из личного общения с нею и с близкими ей людьми. Большая часть материалов для биографии Ковалевской – это, разумеется, воспоминания о ней лиц, ее знавших, и ее собственные, признанные подлинно художественными автобиографические наброски. Мы с особенным вниманием остановились на них, на труде Леффлер «София Ковалевская» и на статье первого домашнего учителя Ковалевской, Малевича, напечатанной в «Русской старине» за 1890 год. Талантливая шведская писательница представила нашу знаменитую соотечественницу как живую со всеми ее крупными и мелкими индивидуальными особенностями. Такой способ изображения вполне уместен в воспоминаниях; в биографии же приходится отделять в личности всё главное, существенное от второстепенного и случайного. В противоположность г-же Леффлер мы стремились изобразить Ковалевскую такою, какою она была *главным образом*. К тому же воспоминания герцогини де Койянелло, бывшей Леффлер, относятся к одному периоду жизни Ковалевской – к последним годам; мы же проследили всю жизнь нашей знаменитой соотечественницы в ее *общих чертах*.



### **Иосиф Игнатьевич Малевич.**

Воспоминания Малевича в высшей степени ценны потому, что бросают свет на условия первоначального образования Ковалевской и на ее занятия элементарной математикой в детстве и в юности – предмет, оставленный в стороне в автобиографии Ковалевской.

Занимаясь составлением биографий замечательных людей и изучая внимательно труды других, легко убеждаешься, что современники иначе смотрят на живших среди них выдающихся людей, чем грядущие поколения; время, уничтожающее все несущественное, условное, мелкое, очищает образ замечательного человека от клеветы и всякого пристрастия и делает его более простым и ясным. Имея это в виду, мы стремились в биографии Ковалевской по возможности удалиться от нашего времени.

Особенно важной и трудной представляется оценка научных заслуг Ковалевской, значение которых трудно выяснить для неспециалиста; поэтому приходится, как всегда в подобных случаях, ссылаться на мнения авторитетов и ограничиваться рассуждениями общего характера.

Между тем эти заслуги представляют глубокий интерес для всякого русского интеллигента; отрадно убедиться, что личность, жившая среди нас, разделявшая увлечения нашего времени, имевшая общие с нами интересы, заняла такое высокое положение среди самых выдающихся людей нашего времени и оставила неизгладимый след в науке. Между современными нам учеными Ковалевская имеет горячих поклонников, которые ее превозносят, и просто людей, отдающих ей справедливость; но есть и люди, старающиеся умалить ее заслуги. В год смерти Ковалевской Московское математическое общество напечатало совместный труд трех профессоров: Столетова, Некрасова и Жуковского, – посвященный оценке заслуг Ковалевской в области чистой и прикладной математики. Взгляды, высказанные в этой статье, вполне согласуются со мнениями западных ученых, беспристрастно относящихся к Ковалевской; в этих мнениях заключается, вероятно, истина, и мы считаем для себя обязательным не слишком уклоняться от них. Но заслуги Ковалевской так несомненны и бесспорны, что не нуждаются ни в каком их «раздувании». Говоря о деятельности Ковалевской, мы должны сказать несколько слов о той школе немецких математиков, к которой она принадлежала. Не преувеличивая значения этой школы, мы сошлемся в этом отношении на взгляды русского математика Васильева, высказанные им в статье «Роль Вейерштрасса в современной математике».



**Софья Васильевна Ковалевская.**

## Глава I

*Несколько слов о личностях, окружавших Ковалевскую в детстве; отец и мать. – Учитель Малевич; его педагогические воззрения. – Гувернантка-англичанка. – Дядя П. В. Корвин-Круковский. – Сестра Анна.*

Софья Васильевна Ковалевская, урожденная Корвин-Круковская, родилась в Москве 3 января 1850 года. Она особенно дорожила первой частью своей двойной фамилии, о происхождении которой рассказывала следующую, переходящую из рода в род, легенду: дочь венгерского короля Матвея Корвина вышла замуж за польского магната Корвин-Круковского. Матвей Корвин, как известно, был не только великий воин, но также просвещенный покровитель наук, литературы и искусств. Президент Парижской Академии наук астроном и физик Жансен, упоминая об этом обстоятельстве в своей речи по случаю присуждения премии Ковалевской, сказал: «Очевидно, госпожа Ковалевская наследовала любовь к наукам и литературе от своего знаменитого предка, и мы поздравляем ее с этим».





## **Елизавета Федоровна Корвин-Круковская.**

Нам известны и другие предки Ковалевской, от которых она с большой вероятностью могла наследовать свои таланты. Мать ее, Елизавета Федоровна Шуберт, была внучкой известного астронома Шуберта и дочерью талантливого генерала Шуберта, столетнюю годовщину рождения которого недавно праздновали академии наук и Генерального штаба. В семействе Корвин-Круковских часто и много говорилось об умственном сходстве будущего профессора математики Стокгольмского университета с дедом и прадедом со стороны матери Ковалевской. Прежде чем проследим шаг за шагом жизнь Ковалевской, мы познакомим читателя с главными лицами, среди которых прошли ее детство и юность.

М. М. Семевский в своих путевых очерках и набросках говорит:

«Дорога от Великих Лук до Невеля (Витебской губернии) чрезвычайно живописна; она тянется почти от Лук до первой станции Сеньково грядой холмов, по обеим сторонам которой лежат необозримые поля, рощицы молодняка леса на местах давно вырубленного бора, и то там, то здесь открываются зеркала озер... Шесть верст за станцией Сеньково, и у самой большой дороги, на холме, в тенистой рощице, подымается каменная часовенка, – здесь опочивают останки генерал-лейтенанта В. В. Корвин-Круковского и его жены Елизаветы Федоровны. Сухой по внешним своим формам, несколько надутый генеральством, старик Корвин-Круковский лег в могилу, как бы не якшаяся с обыкновенными смертными, не на общем кладбище, а, как видите, особняком».



### **Василий Васильевич Корвин-Круковский.**

Таково было общее впечатление, которое производил отец Ковалевской на всех знакомых. За последние годы своей жизни он, впрочем, сделался много доступнее. Однако и в моей памяти муж и жена Корвин-Круковские оставили резко противоположные воспоминания. Он – высокий, худой, мрачный, с темным цветом лица, с щетинистыми бровями; она – небольшого роста, довольно полная, со следами прекрасного цвета лица, тщательно, со вкусом одетая, предупредительная и приветливая со всеми, живая, веселая, несколько торопливая и в движениях, и в разговоре – одним словом, жена производила впечатление березовой роицы, освещенной осенним солнцем, а муж – дремучего леса, в который страшно и заглянуть. По словам Ковалевской, в отце ее текла также цыганская кровь, потому что дед или прадед ее был женат на цыганке. Пылкие страсти, несомненно, жили в душе Круковского; он поздно женился и даже женатым очень сильно играл в карты и, по словам старой няни, так проигрался накануне рождения дочери своей Софьи, что пришлось заложить все женины брильянты. В то же время это был человек с умом, характером и сердцем; он глубоко и нежно любил жену и детей и серьезно заботился об их

будущности. Вращаясь в высшем обществе, отец Ковалевской не мог не знать о предстоящей крестьянской реформе; он понял, какой переворот она должна произвести в экономическом положении помещиков, и решил, что вести хозяйство спустя рукава будет уже невозможно. Это сознание заставило его круто изменить свои нравы и образ жизни; он поселился в своем имении и, неусыпно занимаясь делами и хозяйством, употреблял все зависящие от него средства дать своим детям хорошее, основательное образование. Кто знает, какие минуты борьбы и душевных страданий переживал этот замкнутый человек в своем уединенном кабинете, где он проводил большую часть дня! К жене своей, которая была много его моложе, он относился как к старшей дочери.

Ковалевская с большой нежностью описывает характер своего отца, у которого суровость была только наружная, напускная, развившаяся вследствие укоренившейся мысли, что мужчина должен быть суров. Мои собственные наблюдения подтверждают это замечание. В первое время нашего знакомства с Ковалевской, в Швейцарии, мы часто виделись; она с подругой своей Лермонтовой и с отцом жила в отеле, а мать ее помещалась у старшей дочери. Всякий раз генерал встречал меня очень сухо и при появлении моем уходил в свою комнату, но потом, прислушиваясь к нашему разговору, заражался нашей веселостью, появлялся снова и вместе с нами острил и смеялся. На следующий раз повторялась та же история. Но к большинству людей он всегда относился неизменно сухо, и мало кому удавалось видеть этот ходячий Finster-Horn<sup>[1]</sup> свободным от облаков. С большой вероятностью можно сказать, что любил он только своих близких и считал себя и их неизмеримо выше всех остальных смертных. Такая исключительная привязанность, пожалуй, даже нравилась близким (поэтому Ковалевская предпочитала отца матери). По словам первого учителя Ковалевской, Малевича, Корвин-Круковский любил математику, был сведущ в этом предмете и желал, чтобы любимая дочь его Софья также охотно ею занималась. Он служил в артиллерии и в Москве был одно время начальником арсенала. Дослужившись до чина генерал-лейтенанта, старик вышел в отставку и до конца жизни жил в деревне.

Мать Ковалевской была немка по рождению и воспитанию, но тяготела душой ко всему русскому. Оставаясь протестанткой, она выказывала большую симпатию к обрядам православной церкви, и дом ее во всех отношениях был поставлен на русскую ногу. В то же время ей навсегда остались чужды чисто русские нравы мужа и детей. У нее были более традиционные формы отношений к людям, меньше непосредственного и больше выработанного такта, чем у ее дочерей. Она

также отличалась большой аккуратностью, всегда находила недостатки в их туалете и не раз говорила им: «Рядиться вы любите, а не смотрите за тем, чтобы у вас было всё необходимое». Приученная с детства внимательно относиться ко всем людям, начиная с собственной прислуги, мать Ковалевской возмущалась тем, что ее дочери не придавали значения важным, по ее мнению, мелочам. Например, она всегда волновалась, когда ее старшая дочь, несмотря на свою доброту и великодушие, нередко заставляла свою портниху слишком долго себя дожидаться. Вообще, Круковская была очень незаурядной женщиной и притом увлекающейся натурой; она страстно любила музыку и сама хорошо играла. Благодаря строгому немецкому воспитанию увлечения ее никогда не выходили из пределов долга и порядочности. Однако чисто немецкая жизнь, совершенно поглощающая женщину мелкими домашними интересами, была для нее невыносима; русские нравы во всяком случае представляли больший простор ее склонностям.

Из воспоминаний Ковалевской мы видим, что красивая и нарядная мама редко заглядывала в их детскую. Но это было, во-первых, общим явлением в то время; во-вторых, она была лютеранкой, а дети – православными: пришлось предоставить няне учить их молиться; потом, как увидим, воспитание их забрала в свои руки энергичная гувернантка.

Итак, семья отнимала мало времени у Корвин-Круковской; она в молодости много веселилась, а потом любила делать добро, помогать несчастным, и в воспоминаниях своих Малевич справедливо называет ее светлой личностью. Остается пожалеть, что такая мать не принимала прямого участия в воспитании своих даровитых детей. Влияние в этом деле отца, как мы убедимся, было более активным.

От матери своей Ковалевская унаследовала миловидное лицо, средний рост и приятное, мягкое обращение со всеми; от отца – сосредоточенность мысли, глубину чувств и силу страстей.



### **Софья Васильевна в детстве.**

Первые годы детства Ковалевской прошли под исключительным влиянием няни, которая, однако, настолько была похожа на всех других добрых нянь и имела так мало особенностей, что в воспоминаниях Ковалевской мы не встречаем даже ее *имени*, хотя о ней говорится много и с любовью. От няни воспитание и образование детей Корвин-Круковских перешло в руки домашнего учителя Малевича и гувернантки-англичанки, о которых мы теперь скажем несколько слов.

Сын мелкопоместного дворянина западных губерний, Иосиф Игнатьевич Малевич получил образование в высшем шестиклассном училище в местечке Креславке Витебской губернии. Он очень рано полюбил педагогическую деятельность и, выдержав установленный экзамен на звание домашнего учителя, всецело посвятил себя воспитанию и образованию юношей и девушек.

Знания его не могли отличаться обширностью, но то немногое, чему его выучили, он, как видно, знал твердо и хорошо. На страницах «Русской старины» мы находим обстоятельный очерк его педагогических занятий в доме Корвин-Круковских за период десятилетия от 1858-го до 1868 года. По характеру своему Малевич не представлял собою ничего особенного,

что было бы интересно описать; вот почему он не занял места в литературных воспоминаниях Ковалевской. Но в ее *биографии* нам придется восстановить право Малевича на одно из самых видных в ней мест. Он учил Ковалевскую целых десять лет. Эти же годы составляли четверть всей ее жизни. В доме Круковских Малевич держал себя как человек совсем маленький, старался всем угодить или по крайней мере никому не делал неприятного. Это был неизменный партнер генерала в карточной игре, молчаливый, почтительный обожатель генеральши. Он избегал столкновений с «характерной» англичанкой и не принимал участия в спорах. Уступчивый в мелочах жизни, Малевич беспрепятственно мог делать дело в то время, как другие спорили о словах. И когда *дело* касалось прямых интересов его питомцев, этот смирный человек был и храбр, и настойчив. Например, считая вредным продолжать домашнее образование своего ученика, сына Корвин-Круковского, он советовал поместить его непременно в одну из петербургских гимназий. Добросовестный, прямодушный совет с указанием на несостоятельность домашнего воспитания мальчика не понравился отцу с матерью; однако вскоре родители последовали ему. Таково было влияние Малевича в доме Корвин-Круковских, где он держал себя тише воды, ниже травы.

Малевич нашел в доме Круковских простор и досуг для собственных занятий. Детей в семье было трое: старшая дочь была девушкой в возрасте и учению уделяла немного времени, а больше занималась чтением; младший сын был еще мал, и Малевич многие годы, строго говоря, занимался одною только Ковалевской. Он не терял времени и, пользуясь предоставленными ему средствами, следил за успехами педагогики. Живя в довольстве, в деревенской тиши, Малевич много размышлял о своем деле, обсуждал методы и, что самое главное, неуклонно чуждался рутины и шел вперед. Он говорит: «Остановиться на выработанном или довольствоваться сделанным — значит отстать от непрерывного движения человеческой мысли, а потому постоянное развитие и самосовершенствование в каждом деле, а тем более *учебном*, есть существенная необходимость. Да и в силах ли, в состоянии ли развивать своих питомцев тот, кто остановился в своем развитии...»

В свободное от занятий время Малевич был товарищем своей ученицы: болтал с нею о том о другом, часто детским наивным образом заставлял ученицу увлекаться и с удовольствием развивал перед нею свои взгляды и мнения о разных предметах.

Малевичу в то время было пятьдесят лет, но благодаря живому характеру и любви к детям он разделял с ученицей даже ее детские забавы:

запускал при осеннем ветре огромного змея, играл в мячик – и тут же внимательно следил за нею, наблюдал и изучал ее сложный внутренний мир, задумываясь над ее будущностью. Он желал, чтобы судьба лишила ее избытка земных благ, чтобы она не пошла избитым путем других знатных и богатых девушек, а заняла бы высокое место в литературном мире; но в то же время тревожился, не слишком ли далеко зашли они в математике, и, чтобы успокоить себя, откровенно беседовал с отцом ученицы, высказывая опасения, что быстрые успехи в науках могут довести до результата противоположного ожидаемому, то есть она может пойти необычным путем. В то время женщины уже стремились к высшему образованию. И эта двойственность желаний является нам вполне понятной в Малевиче.

Малевич, конечно, знал, что жизнь людей, идущих торным путем, счастливее жизни личностей, пробивающих новую дорогу. Родители же и воспитатели всегда желают детям счастья прежде всего.

Но в то время, когда эти сомнения закрадывались в душу учителя, отец их не разделял; он гордился успехами в математике своей Софьи, но никогда ему не приходило в голову, чтобы она ради математики отказалась от видного положения в свете, на которое могла рассчитывать по своей привлекательной наружности и блестящему уму.



## **Анна Васильевна Корвин-Круковская.**

Предметом его горьких размышлений в то время была старшая дочь Анна, уже зараженная идеями, носившимися в воздухе. Это была тоже очень талантливая, многообещающая, живая натура; она имела большое влияние на развитие своей младшей сестры и на ее судьбу. Ковалевская, зная лучше всякого другого способности своей сестры, никогда не могла примириться с тем, что та не заняла в жизни подобающего ей места. И это произошло – с уверенностью можно сказать – только благодаря тому, что Анна Круковская получила воспитание совершенно отличное от того, которое выпало на долю младшей сестры. Она была царицей детских балов в Москве и Калуге в том возрасте, в котором сестра ее прилежно училась под руководством доброго, но взыскательного Малевича.

С раннего детства Анну приучали к лени и рассеянности; затем – уединенная жизнь в деревне, так плодотворно отзывавшаяся на развитии Софьи Круковской, – не принесла никакой пользы Анне, а только сделала из нее фантазерку, мечтательницу и лишила возможности в юности изучить жизнь. Отсутствие систематического образования и привычки к труду помешали ей приобрести высшее образование, а ее общее развитие и другие условия препятствовали ей быть просто счастливой. Смерть рано положила конец ее во всех отношениях неудачной жизни, но она останется жить в воспоминаниях своей знаменитой сестры, и ей также должно принадлежать видное место в биографии Ковалевской. Под влиянием старшей сестры у младшей развилась любовь к литературе, способность анализировать свой внутренний мир, глубоко задумываться над вопросами жизни. Вообще, можно сказать, что жизнь Ковалевской пошла бы иначе, если бы в нее не вмешалась слишком рано сестра.

Первой гувернанткой Круковских была француженка; она больше занималась с Анной и почти не имела отношения к младшим детям, воспитание которых вскоре было поручено заменившей ее англичанке.





### **Маргарита Францевна Смит.**

Из рук няни Ковалевская попала в руки гувернантки-англичанки, Маргариты Францевны Смит. Эта типичная личность, преследуя вполне осязательные и определенные цели воспитания, несмотря на все неблагоприятные условия, оставила следы своего влияния в ее любимой питомице. Она оказала полезное противодействие совершенной распущенности физического и нравственного воспитания детей Корвин-Круковских. Однако глубоко консервативная, прямолинейная и ограниченная г-жа Смит едва ли могла понять чуткую организацию маленькой Софьи и безжалостно мяла ее в своих железных руках. Мне пришлось встретиться с нею лет через четырнадцать после того, как она оставила дом Корвин-Круковских, но и в то время Маргарита Францевна метала еще свои молниеносные взгляды и отличалась большой крепостью тела и духа; часто появляясь в доме Ковалевских, она требовала себе почета и вмешивалась в их дела больше, чем мягкая и уступчивая Корвин-Круковская. Когда у Ковалевских родилась дочь, г-жа Смит со свойственной ей энергией стремилась завладеть воспитанием этого ребенка, и вообще ей хотелось поставить дом Софьи на *порядочную* ногу.



### **Софья Васильевна.**

Властная воспитательница Ковалевской, г-жа Смит, конечно, не имела никакого прямого влияния на ее умственное развитие; оно находилось в руках двух совершенно противоположных личностей: дяди ее Петра Васильевича Корвин-Круковского и домашнего учителя Малевича. Первый был человек не от мира сего, дилетант-самоучка, обладавший весьма разнообразными отрывочными познаниями; но энтузиаст, как нельзя более способный возбуждать интерес и развивать любознательность. Это был человек сильный физически, но кроткий и добрый, как дитя.

Из одного поверхностного знакомства с личностями, окружавшими Ковалевскую в детстве, можно составить себе понятие, что влияние их на впечатлительную девочку было в высшей степени разнообразным и послужило к развитию в ней самых противоположных сторон ума и характера. Мы увидим, что многосторонность действительно составляла всегда главную особенность Ковалевской. Но эта многосторонность не была следствием одного только сочетания счастливых внешних условий: Ковалевская наследовала от своих предков самые противоположные качества ума и характера; в ее жилах текла кровь русская, польская, немецкая и, наконец, цыганская.

## Глава II

*В Москве и в Калуге. – Первые воспоминания Ковалевской. – Первоначальное воспитание. – Русская няня и ее влияние. – Софья и Анна Корвин-Круковские. – Проявление сильной воли и любознательности в маленькой Софье.*

Жизнь Ковалевской была недолгой; она скончалась на сорок втором году от рождения. Почти полжизни провела она в общей сложности за границей и погребена в Стокгольме. Многие, не знавшие ее близко, могут из этого заключить, что она мало жила русской жизнью. Такое предположение покажется еще более вероятным, если мы вспомним, что по матери Ковалевская была немецкого происхождения. Несмотря на это, она получила чисто русское воспитание и, находясь в Берлине, Париже, Ницце, Стокгольме, жила русскими интересами, думала, чувствовала и поступала по-русски. И, как мы знаем, всё это не помешало ей сделаться европейской знаменитостью.

Первые годы жизни Софьи Корвин-Круковской прошли в Москве под исключительным влиянием русской няни, которая без памяти ее любила и очень баловала. Самые ранние воспоминания замечательного ребенка, очевидно, связаны с Москвою; Ковалевская сама писала, что прежде всего помнит: «Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя от толчков. „Не ушибите ребеночка!“ – умоляет она поминутно теснящихся вокруг людей...»

Эти первые отрывочные воспоминания состоят из отдельных и очень ярких картин. Последовательные воспоминания относятся уже к жизни в Калуге, куда перевели Корвин-Круковского по службе. Из этих воспоминаний вполне рисуется сама жизнь Корвин-Круковских в Калуге – тому, кто вообще знаком с образом жизни богатых людей в провинции в то время. Дети тогда не пользовались такими правами, какими они пользуются теперь; о гигиене и ее требованиях родители думали мало. Дети до известного возраста жили исключительно в детской, которая всегда помещалась наверху двухэтажного дома; в бельэтаже находились жилые комнаты для господ, а в нижнем были кухня и людские. Так жили и Корвин-Круковские. Ковалевская пишет: «Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Стоит няне стать на стул, и она свободно достанет рукой до потолка. Мы все трое спим в

детской».

Нетрудно себе представить, какой воздух был в этой комнате, в которую гувернантка-француженка не могла войти без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу. Она умоляла няню отворять форточку, но няня не слушалась «басурманки», ни за что не соглашаясь «студить господских детей». Само собой разумеется, что няня не особенно тщательно и прибирала комнату; она даже не мыла как следует детей, а просто вытирала им лицо и руки мокрым полотенцем; не чесала их, а проводила гребнем по голове, надевала на них платица, в которых часто не хватало нескольких пуговиц.

Впоследствии Корвин-Круковская удивлялась неаккуратности своих обеих дочерей и не знала, откуда она взялась; тогда же ей было не до пуговиц, были бы дети при гостях нарядно одеты. И в Москве, и в Калуге маленькая Софья Круковская жила в детской даже больше, чем другие дети ее лет. Это видно из того, что в ее воспоминаниях нет ни слова о войне, которая составляла почти исключительный предмет разговоров в гостиных в половине пятидесятых годов. Тогда все дети, вертевшиеся около взрослых, говорили нараспев:

«Вот в воинственном азарте  
Воевода Пальмерстон  
Поражает Русь на карте  
Указательным перстом».

Ковалевская же, смеясь, признавалась, что это патриотическое стихотворение, как и другие, было ей незнакомо. Она в то время заслушивалась сказок своей няни... Последние оставили такой глубокий след в ее воображении, что много лет спустя ей снились то «черная смерть», то волк-оборотень, то двенадцатиголовый змей, и она испытывала тот же ужас, который охватывал ее в годы детства, когда она слушала эти сказки.

Вскоре сказались результаты такого во всех отношениях ненормального воспитания маленькой Софьи, и розовенькая, здоровая от природы девочка сделалась в высшей степени нервной. На нее по временам стало находить чувство безотчетной тоски; она начала бояться темноты. Ковалевская говорит, что испытываемое ею чувство было очень сложно и гораздо более походило на тоску, чем на страх; оно вызывается не собственно темнотою или какими-либо связанными с нею

представлениями, а именно ощущениями надвигающейся темноты; то же ощущение охватывало ее при виде большого недостроенного дома с голыми кирпичными стенами и пустыми пролетами вместо окон.

В то же время у С. Корвин-Круковской стали появляться и другие признаки большой нервности, например доходящее до ужаса отвращение к уродствам. Она видела всегда во сне всех уродов, о которых слышала наяву. Даже вид разбитой куклы внушал ей страх. Она говорит:

«Когда мне случалось уронить куклу, няня должна была поднимать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была ее уносить, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анюта, поймав меня одну без няни и желая подразнить, стала насильно совать мне в глаза восковую куклу, у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня до конвульсий».

В следующей главе мы будем говорить о переменах в воспитании, которые, к счастью, скоро последовали в доме Круковских. Но если бы Ковалевская продолжала находиться под властью няни, мы не увидели бы блестящего проявления ее природных сил; она сама говорит, что ей предстояло превратиться в болезненного ребенка. Вдобавок ко всему няня «натолковала» своей любимице, что она нелюбима родителями, особенно матерью.

Сама Ковалевская замечает: "...во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня всё более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность». Ребенок дичился решительно всех – своих и чужих, и детей и взрослых, поэтому и с ним все были не так ласковы; няня же это толковала своей любимице по-своему. Последствия обнаружили, насколько няня была несправедлива; младшая дочь всегда была любимицей отца, и во всяком случае никак нельзя было сказать, чтобы г-жа Круковская не любила свою Соню: мать и дочь только не были близки между собою, но это обуславливалось разностью их характера. По словам своего брата, Софья и маленькая характером была вылитый отец. В самом раннем возрасте у нее проявлялись признаки сильной воли, как это видно из некоторых сохранившихся рассказов из ее детской жизни. Маленькую Софу, как и всех детей в то время, насильно заставляли есть суп, и если она упрямилась, ставили в угол. Это было самое страшное наказание, потому что бить детей у Круковских не полагалось. Раз как-то в начале обеда никак не могли доискаться Софы и

наконец нашли ее где-то стоявшей в углу: она объяснила, что не хочет есть супа и зная, что за это ее поставят в угол, отправилась туда *сама*. И во взгляде, и в голосе ее была при этом такая твердая решимость, что все старшие опешили.

На преждевременное развитие Софы имела большое влияние не по летам развитая и бойкая Анюта, которая была старше ее на семь лет. Когда Анюте надоедало быть с большими, она являлась в детскую к своей младшей сестренке и играла с нею. Анюта, успевшая многого начитать и многого наслушаться, подчас сердилась на наивность пятилетней сестры, не имевшей понятия об идеале и смешивавшей это слово с одеялом; ей хотелось, чтобы Софа поскорей выросла и начала ее понимать, и она принялась набивать ей голову разными непонятными ей вещами. Мать, по ее словам, часто заставляла дочерей в таком положении: Анюта стоит и что-то горячо толкует Софе, трясет ее за плечи или сильно размахивает руками, а Софа, ростом вдвое меньше Анюты, смотрит на нее как-то снизу вверх и напряженно старается понять сестру. Обе девочки не любили играть в куклы; любимой их игрой было копирование отношений между господами и прислугой. В материале и образцах не было недостатка: в их детскую часто забегали горничные пить кофе и беседовать с нянюшкой. Анюта, обладавшая большим сценическим талантом, брала на себя роль прислуги, а Софе предоставляла играть скучных и важных барынь, что, впрочем, та делала охотно; няня наговорила ей, что она будет золото носить, по серебру ходить и так далее. Софа всегда восхищалась высокой, красивой и речистой Анютой и, часто видя в руках ее книги, сама захотела выучиться читать, думая найти в них все то интересное, о чем рассказывала ей Анюта. Никому не объявляя о своем намерении, она стала хватать книги и газеты, обращаясь с просьбой назвать ей ту или другую букву, и так понемногу, незаметно для всех, она к общему удивлению выучилась читать; ее, разумеется, похвалили, и отец при этом припомнил, что Анюту нужно было заставлять учиться, а Софа вот сама выучилась. Софа вся покраснела от удовольствия, что в чем-нибудь она оказалась лучше предмета своей зависти и восхищения. Тут она поняла слабые стороны Анюты и, узнав, в чем может ее превзойти, неусыпно старалась делать это. Все говорили, что Анюта была ленива, – Софа выказывала большое прилежание к учению; Анюта была своевольна – Софа старалась быть послушной. Считая себя нелюбимой, она со свойственной ей страстностью стремилась приобрести любовь своих родителей. Вскоре она сделалась гордостью семьи и сознавала, что учится прекрасно и что все считают ее очень знающей для ее лет. Это настолько бросалось в глаза, что приехавший к ним погостить дядя

– брат матери – нашел, что с такой умной барышней нельзя говорить о пустяках и начал рассказывать ей про инфузорий, про водоросли, про образование коралловых рифов. Эти рассказы приводили ее в восторг.

Лицом и манерами в то время Софья напоминала благовоспитанного ребенка из немецкой семьи. Личико у нее было очень беленькое, но тело смуглое, и в нем билось пылкое, если хотите, цыганское сердце, способное сильно страдать и сильно желать; иногда это проявлялось в поисках исключительной привязанности, в припадках сильной ревности, за которые Ковалевской бывало так стыдно, что она боялась показаться на глаза людям.

Такова была Ковалевская, превращаясь из ребенка в девочку-подростка. Она скоро вышла из детства, но своеобразность его оставила неизгладимые следы в ее характере; рано развившаяся нервность, как мы увидим, давала себя знать и в позднейшие годы ее жизни, выражаясь между прочим в склонности к суеверию. Впрочем, наряду с этим дурным влиянием было и хорошее. Благодаря няне и ее рассказам в ней развилось воображение, которое, как она сама говорила, в математике необходимо столько же, сколько и в поэзии. Не будь няни, ревниво отстранявшей француженку и привлекавшей ребенка не только баловством, но действительной любовью и лаской, первым языком Ковалевской был бы французский и она потом не нуждалась бы в русском языке и не была бы вполне русской. Очень может быть также, что строгая дисциплина в раннем возрасте не дала бы развиться многим ее индивидуальным особенностям, которые пустили такие глубокие ростки под няниным крылышком. Эта же няня прозвала свою любимицу «ясынка», и все знавшие Ковалевскую соглашались, что это было самое подходящее к ней прозвище.

## Глава III

*Переселение Корвин-Круковских в Палибино и перемена в образе жизни и в воспитании детей. – Воспитание Софьи англичанкой Смит. – Уроки Малевича. – Беседы младшей Корвин-Круковской с дядей-дилетантом. – Возникновение интереса к математике. – Склонность к поэзии, преследуемая воспитательницей. – Процветание умственных интересов в Палибине. – Отношение Корвин-Круковского к проявлениям математических способностей дочери. – Первое путешествие сестер Круковских за границу. – Окончание занятий у Малевича.*

В 1858 году Корвин-Круковский, дослужившись до генерал-лейтенанта, вышел в отставку и поселился в своем имении в селе Палибино. Деревенская жизнь, разумеется, как нельзя лучше отозвалась на здоровье детей. Усадьба Круковских была истинно барская.



### **Палибино.**

После войны, в конце пятидесятих годов, наряду с другими



«вопиющими» вопросами возник и так называемый «женский вопрос»; о нем писали и говорили. Вероятно, под влиянием этого и Корвин-Круковский, не обращавший прежде никакого внимания на умственное развитие своих дочерей, впервые серьезно задумался над этим важным вопросом и вмешался в воспитание своих детей. Результатом этого вмешательства сначала явились неутешительные разоблачения. Ковалевская говорит в своих воспоминаниях:

«Как нередко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасно воспитанные, как он полагал. До сих пор все твердили, что сестра моя чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам. Теперь же вдруг оказалось, что она не только из рук вон избалована, но для двенадцатилетней девочки до крайности невежественна, даже правильно писать не умеет по-русски».

Отец Ковалевской, не любивший полумер, произвел настоящий переворот в самой системе этого воспитания. Французенку прогнали, нянюшку отставили от детской и определили смотреть за бельем, а вместо них взяли гувернера-учителя И. И. Малевича и англичанку Маргариту Францевну Смит. Единственному сыну Корвин-Круковских было в то время три года, и учитель был приглашен для преподавания наук дочерям. Из этого видно, что Корвин-Круковские в то время считали недостаточным обыкновенное образование, получаемое девушками того времени под руководством одних гувернанток. Заметим, что Ковалевская начала серьезно учиться в тот год (1858), когда была открыта Вышнеградским в Петербурге первая женская гимназия, имевшая такое важное значение в истории женского образования в России.

Итак, в доме Корвин-Круковских воцарилось одновременно строгое воспитание и серьезное обучение. В то время как властная и выдержанная англичанка настойчиво водворяла порядок в детской, обливала каждое утро холодной водой девочку, которую до того няня кое-как умывала тепленькою водицей, тихий, созерцательный учитель старался развить в ней привычку к труду и любовь к учебным предметам. Начало своих занятий с Ковалевской Малевич описывает так:

«При первой встрече с моей даровитой ученицей, в октябре того года, я увидел в ней восьмилетнюю девочку, довольно

крепкого сложения, милой и привлекательной наружности, в глазах которой светился восприимчивый ум и душевная доброта. В первые же учебные занятия она обнаружила редкое внимание, быстрое усвоение преподанного, совершенную, так сказать, покладистость, точное исполнение требуемого и постоянно хорошее знание уроков.

Развивая ее способности по своей методике, я не мог, однако ж, заметить при первых уроках *арифметики* особых способностей к этому предмету: все шло так, как с прежними моими ученицами. Однажды за обедом генерал спросил свою любимую дочь: „Ну что, Софа, полюбила ли ты арифметику?“ – „Нет, папочка“, – был ее ответ. „Так полюбите же ее, и полюбите больше, чем другие научные предметы!“ —сказал я с некоторым волнением. Не прошло четырех месяцев, как ученица моя почти на такой же вопрос отца сказала:

– Да, папочка, я люблю заниматься арифметикой: она доставляет мне удовольствие.

Отец улыбнулся и очевидно был рад ответу своей дочери».

Эти два ответа на предложенный отцом вопрос рисуют нам Ковалевскую серьезным, вдумчивым и правдивым ребенком. Такою же она сохранилась в воспоминании госпожи Смит, от которой нам не раз приходилось слышать: «Софу никогда не нужно было заставлять учить уроки и вообще исполнять какие-нибудь обязанности; она все это прекрасно знала сама». В деревенской тиши, при самых счастливых условиях, Софья Корвин-Круковская делала быстрые успехи: она прошла всю арифметику в два с половиной года; по словам ее учителя, к концу этого времени она отлично решала даже самые трудные задачи, и он нашел возможным пройти с нею теорию арифметики Бурдона, принятую в то время в высших учебных заведениях в Париже. Замечательно, что Ковалевская с большой легкостью и с большим интересом изучала алгебру Бурдона, и даже те отделы, которые могли служить ей с пользой только при изучении высшей математики. На середине курса алгебры учитель приступил к преподаванию геометрии. Малевич говорит:

«Прошли три-четыре года безусловно успешных занятий без всяких выдающихся эпизодов; но когда дошли мы в геометрии до отношения окружности круга к диаметру, которое я преподавал со всеми доказательствами и выводами, ученица моя, излагая

данное на следующем уроке, к удивлению моему пришла совсем другим путем и особенными комбинациями к тому же самому выводу. Я потребовал повторить и, думая, что она не совсем поняла мое изложение, сказал, что хотя вывод верный, но не следует прибегать к решению чересчур окольным путем, а потребовал, чтобы она изложила так, как я преподавал. Не знаю, была ли она сконфужена моим неожиданным требованием или, быть может, я задел ее самолюбие, только она сильно покраснела, потупила глаза и заплакала. Я постарался успокоить ее ласковыми словами, ободрил, урезонил и, повторивши *данное*, отложил все до следующего утра. Это были первые и последние слезы ученицы за уроками во всё время моего девятилетнего ей преподавания. В тот же день я передал этот случай генералу, и когда пояснил все дело, то он, как старый математик, похвалил изобретательность своей дочери и сказал: „Молодец, Софа! Это не то, что было в мое время. Бывало рад-рад, когда знаешь хотя кое-как урок, а тут сама, да еще девочка, нашла себе другую дорогу“, – и, очень обрадованный, крепко пожал мою руку».

Из этого правдивого рассказа Малевича мы видим, как удачно начались и продолжались занятия Ковалевской математикой под руководством преданного своему делу учителя и при поощрении отца, к счастью любившего математику.

Малевич занимался также весьма старательно и толково с младшей Круковской русской словесностью и литературой, географией, всеобщей и русской историей. Он не только знакомил свою ученицу с фактической стороной, но старался главным образом развить в ней разностороннее логическое мышление. Если мы примем во внимание, что эти занятия продолжались без перерыва около десяти лет, то легко понять, какое важное значение они имели в умственном развитии Ковалевской. Вообще, можно сказать, что эти годы в деревне она вела жизнь трудовую. Сама она описывает свой день следующим образом: вставать ее заставляли рано, зимою ей приходилось расставаться с теплой постелькой почти при свечах и пить чай одной со своей гувернанткой в то время, когда все остальные члены семейства крепко спали. День начинался обыкновенно уроком музыки, который проходил в большом зале при весьма прохладной температуре зимою; посиневшими от холода пальцами девочка должна была играть гаммы и экзерсисы. Ковалевская не обладала музыкальными способностями, но на это не обращали никакого внимания и заставляли ее

учиться музыке, что принесло ей некоторую пользу, увеличив привычку к труду. За уроком музыки следовали другие уроки; в 12 часов – завтрак, потом прогулка и опять уроки. После обеда приходилось готовить уроки к следующему дню. К счастью, с заданными уроками богато одаренная девочка справлялась очень скоро и успевала уйти от строгой гувернантки на верхний этаж, который принадлежал матери и старшей сестре. Мать ее имела привычку играть по вечерам на фортепьяно и играла целыми часами наизусть, сочиняя и импровизируя. У Е. Ф. Круковской было много музыкального вкуса и удивительно мягкое туше. Вообще, в царстве генеральши жилось веселее, чем внизу; там мать, старшая дочь и совсем еще маленький сын жили свободно без заботы, без труда; но Софа являлась туда только на несколько часов и потому чувствовала себя там гостьей. Сверх того, у нее все еще существовало убеждение, что мать любит ее меньше других детей; это сильно ее огорчало и удаляло от матери. Веселая, кроткая, не любившая ссор, Круковская побаивалась резкой и властолюбивой гувернантки и потому лишь изредка заглядывала в те комнаты, где та была полной хозяйкой.

В доме Корвин-Круковских вообще царствовала тишь да гладь, потому что всем было привольно и просторно; все могли жить, нисколько не стесняя друг друга. Однако и при таком просторе Софья Круковская во многих отношениях была стеснена и нисколько не избалована. Она любила читать и писать стихи, но та и другая из этих склонностей встречали противодействие в строгой англичанке; чтение она подвергла строгой цензуре, писание же стихов было совсем исключено из воспитания нормальной девочки, в какую англичанка стремилась превратить нервную Софу. Но Ковалевская с детства любила поэзию, у нее был целый мир фантазий; она говорит:

«Самая форма, самый размер стихов доставляли мне необычайное наслаждение; я с жадностью поглощала все отрывки русских поэтов, и чем высокопарнее была поэзия, тем более она мне приходилась по вкусу. Баллады Жуковского долго были единственными известными мне образцами русской поэзии; хотя у нас была обширная библиотека, но она состояла преимущественно из иностранных книг; ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова в ней не было».

Памятен Ковалевской был тот счастливый день, когда, по настоянию учителя Малевича, была куплена ей хрестоматия Филонова. Она читала

«Мцыри» и «Кавказского пленника» до тех пор, пока гувернантка не пригрозила отнять драгоценную книгу. Ковалевская чуть ли не с пятилетнего возраста сама сочиняла стихи, а гувернантка стремилась искоренить эту, по ее мнению, вредную привычку. Если ей попадался на глаза клочок бумажки, исписанный стихами ученицы, она прикалывала его булавкой к плечу девочки и потом при всех декламировала стихи, коверкая их и искажая. Впечатлительная Софа перестала на время писать стихи, но сочиняла их в уме и громко произносила их, играя в мячик. Особенно она гордилась двумя своими стихотворениями: «Обращение бедуина к коню» и «Ощущение пловца, ныряющего за жемчугом». О последнем стихотворении упоминает Малевич. Оно начинается так: «Бросаюсь в воду я», а оканчивалось: «Теряюсь духом я... и умираю». В стихах этих девочка старалась выразить ощущение пловца, боровшегося с волнами. Очевидно, всесторонне развитый учитель с большою гуманностью относился к ученице, и она поверяла Малевичу сочиняемые ею втайне стихи.

Это раннее развитие фантазии и стремление к поэзии шли рука об руку с приобретением «положительных» знаний. В классной комнате маленькая Круковская была в высшей степени сосредоточена и серьезна, а в свободное время отдавалась фантазии и поэзии. Итак, две склонности, обыкновенно признаваемые не только противоположными, но исключаящими одна другую, уживались как нельзя лучше в Ковалевской.



## **Софья Ковалевская.**

Нам известны многие другие математики, любившие поэзию, например Д'Аламбер, Карно, Кеплер и другие.

Склонность к математике до тех пор, пока не перешла в стремление к высшему образованию, встречала сочувствие отца, поэтому могла проявляться беспрепятственно; для удовлетворения же своего влечения к литературе Софья Круковская должна была прибегать к хитрости и вообще бороться со своей гувернанткой.

Говоря об этих двух склонностях, нельзя избежать вопроса, под влиянием каких внешних условий они проявились. Этот вопрос так часто предлагали самой Ковалевской, что на него она сама дала весьма определенный ответ:

«Первоначальным систематическим обучением математике я обязана И. И. Малевичу. В особенности хорошо и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна сознаться, что в первое время, когда я начала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. Только ознакомившись несколько с алгеброй, я почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами. Любовь к математике проявилась у меня под влиянием дяди Петра Васильевича Корвин-Круковского. Многие и долгие часы проводили мы с ним в угловой комнате нашего большого деревенского дома, в так называемой башне, она же и библиотека. От него между прочим мне пришлось впервые услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах – прямых линиях, к которым кривая постепенно приближается, никогда их не достигая, и о многих других совершенно непонятных для меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным».

Эти рассказы наэлектризовали девочку. По счастливой случайности даже стены детской были оклеены записками по дифференциальному и интегральному исчислению Остроградского. Непонятные знаки привлекали ее внимание; она всматривалась в формулы и обращалась с вопросами к

любимому дяде, который, как мы видели, сам не знал многого и не мог объяснить, но умел заинтересовать.

П. Б. Корвин-Круковский вообще был сеятелем умственных интересов везде, где он появлялся. Отец Ковалевской, хотя и был человек умный и начитанный, не отличался общительностью. Мать прекрасно знала иностранные языки, ей была знакома даже итальянская литература, она читала запоем, однако же если не было дяди ни за завтраком, ни за обедом, никто не рассыпал своих умственных сокровищ, и разговор шел вяло, ограничиваясь домашними делами. Но в присутствии дяди начиналось настоящее умственное общение между всеми членами семьи, в котором принимала живое участие и консервативная англичанка, представлявшая оппозицию всем новым в то время идеям. При этом кроткий и осторожный Малевич не высказывал своих воззрений, и если говорил, то исключительно касаясь фактической стороны.

Сама Ковалевская в своих воспоминаниях следующим образом рисует оживление умственных интересов под влиянием дяди:

«Но более всего увлекался дядя, когда нападал в каком-нибудь журнале на описание нового важного открытия в области науки. В такие дни за столом велись жаркие споры.

– А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? – скажет бывало дядя, обращаясь к моей матери. – Искусственных сиамских близнецов понаделал, срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно.

И начнет дядя передавать присутствующим содержание только что прочитанной им журнальной статьи, невольно, почти бессознательно украшая и пополняя ее, и выводя смелые заключения».

В памяти Ковалевской сохранилось, какую бурю подняли в их доме две статьи в «Revue des deux mondes»: одна – о единстве физических сил (отчет о брошюрах Гельмгольца), другая – об опытах Клода Бернара по вырезанию частей мозга у голубя. Она прибавляет: "...вероятно, и Гельмгольц, и Клод Бернар очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживающую где-то в захолустье Витебской губернии».

Дядя Ковалевской нисколько не представлял из себя в то время исключительной личности. Таких истинных популяризаторов науки было немало среди нашей обеспеченной интеллигенции, и везде их влияние

было так же плодотворно, как в семье Корвин-Круковских. Но для нас важнее всего в данном случае, что интерес к математике возник и вырос не в классной комнате и был вызван не уроками опытного и знающего учителя, а возбужден рассказами самоучки-дяди, потому что Дядя был энтузиастом и заронил искру того же энтузиазма в душу двенадцатилетней племянницы. Любовь к литературе развилась в ней под влиянием сестры, тоже личности увлекавшейся и со страстью предававшейся чтению. Но если интерес был возбужден не уроками Малевича по математике и словесности, то это обстоятельство несколько не умаляет огромного значения его лекций. Интерес к предмету плодотворен только тогда, когда соединен с упорностью в труде и с основательным знанием, а первую и фундамент второго Ковалевская приобрела исключительно под влиянием Малевича. Ковалевской было около пятнадцати лет, когда она проявила удивительную самостоятельность и упорность мышления; этот случай врезался в память ее отца, а также учителя и соседа Круковских по имению, профессора физики Тыртова. Ковалевская упоминает о нем сама следующим образом:

«Тыртов привез нам как-то свой элементарный учебник физики. Я попробовала читать эту книгу, но, к своему горю, встретила в отделе оптики тригонометрические формулы. Не зная тригонометрии, соображаясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить себе их сама. При этом по странному совпадению я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, то есть вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадают друг с другом. Когда я рассказала Тыртову, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, он стал горячо убеждать отца в необходимости учить меня серьезно».

Малевич говорил, что им составлен был уже план преподавания прямолинейной и сферической тригонометрии, но непредвиденные обстоятельства разрушили его намерения. Болезнь старшей Корвин-Круковской заставила в начале сентября 1866 года мать с дочерьми провести зиму в Швейцарии, в Монтрё.

Сведения Ковалевской по естественным наукам ограничивались популярным изложением зоологии, ботаники и минералогии. Сверх того Малевич читал со своей ученицей избранные сочинения, относящиеся к этим предметам, к изучению же физики не успел приступить.



Знания обеих Корвин-Круковских в языках были вообще хороши, но с французской литературой англичанка не могла познакомить их как следует. Заметив этот пробел, заботливые родители отказали англичанке и пригласили образованную швейцарку, которая познакомила молодых девушек с французской литературой еще до отъезда их за границу.

На святках 1866 года в Палибине было получено письмо от младшей Корвин-Круковской; она просила отца приехать к ним и привезти с собою Малевича с математическими книгами, говоря, что имеет желание заняться математикой. «Я с удовольствием согласился на эту поездку, – говорит Малевич, – и провел несколько счастливейших месяцев в путешествии со своими ученицами и их братом, моим учеником, в прелестной Швейцарии и Германии».

В Швальбахе Малевич возобновил прерванные занятия с младшей Круковской, которая в то время брала также уроки немецкого языка. Итак, родной язык матери был неизвестен ей до шестнадцатилетнего возраста. По возвращении из-за границы решено было поместить сына в одну из петербургских гимназий. Для того чтобы разузнать, в какое заведение лучше отдать сына, мать с дочерьми отправились в Петербург, а в начале января 1868 года уехал туда же В. В. Корвин-Круковский с сыном; Малевич же нашел место учителя в семействе предводителя дворянства Евреинова.

Так окончился палибинский период жизни Ковалевской, столь плодотворный для ее развития. Надо отдать справедливость настойчивой англичанке: она значительно укрепила здоровье молодой девушки, хоть и не сделала из нее английской мисс; она с большим горем оставила дом Корвин-Круковских, сохранив, однако, постоянную связь со всею семьей, преимущественно же с Ковалевской. Последняя, в свою очередь, привязалась к своей строгой, доброжелательной и добросовестной воспитательнице и трогательно описала ее отъезд в своих «Воспоминаниях», не скрывая, впрочем, что была в то же время и рада избавиться от бдительного надзора гувернантки, которая мешала ее сближению с сестрой. Жизнь Анюты приобретала все больший и больший интерес в глазах сестры: Анюта сделалась писательницей и потихоньку от отца переписывалась с Достоевским, поместившим две ее повести в журнале «Эпоха».

Болезнь любимой сестры и первое путешествие за границу не отвлекли, как мы видели, Ковалевскую от занятий математикой. Она настойчиво желала их продолжать и занималась с Малевичем, переезжая из города в город. За границей она теснее сблизилась с сестрою и с матерью.

## Глава IV

*Сестры Корвин-Круковские в Петербурге. – Знакомство с Достоевским. – Отношение к вехам шестидесятых годов. – Стремление к высшему образованию. – Фиктивный брак Софьи Круковской с В. О. Ковалевским. – Ковалевская изучает высшую математику в Гейдельберге. – Путешествие в Лондон. – Отношения ее к мужу. – Занятия в Берлине у Вейерштрасса. – Поездка в Париж и в Швейцарию. – Опять в Берлин. – Пожалование Ковалевской степени доктора математики Геттингенским университетом.*

В 1867—1868 годах сестры Корвин-Круковские появились в Петербурге. Они с матерью поселились в доме своих теток на Васильевском острове. Квартира тетушек была очень большой, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массой ненужных, некрасивых вещей и безделушек, собранных в течение долгой жизни двух аккуратных «девствовавших» немочек. Среди их знакомых преобладали немцы, по словам Ковалевской чопорные и бесцветные. Две молодые русские девушки не имели с ними ничего общего и стремились к другим людям... Чисто русское образованное общество имело тогда так много нового, своеобразного; это были шестидесятые годы. После Крымской войны русское общество оживилось, в нем возникли новые стремления и надежды. С воцарением императора Александра II всех охватило предчувствие крупных перемен в общественном строе, – и, прежде всего, перемен, касающихся отношений помещиков с крестьянами. Мы видели уже, что под влиянием такого предчувствия Корвин-Круковский принялся за хозяйство и произвел переворот в воспитании и образовании своих детей; Ковалевская была обязана своими знаниями идеям, уже носившимся тогда в воздухе. Но люди пожилые, понимавшие, что наступает новое время, относились к нему со страхом и недоверием. Исключение составляли только самые светлые личности.

Корвин-Круковский, преданный безраздельно своим личным и семейным интересам, со страхом отпустил своих дочерей в Петербург. Много наставлений и предостережений пришлось выслушать его жене. Анюта упростила отца позволить ей познакомиться с Достоевским; как нежный отец, он не мог долго противиться желаниям своих детей и в конце концов уступал им. Сначала, разумеется, открытие тайных сношений Анюты с Достоевским и ее первые шаги на литературном поприще

повлекли за собой бурю, потом отец, как всегда, смирился; с затаенным страхом в душе допускал он это знакомство и говорил жене:

– Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность. Достоевский – человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только то, что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень и очень осторожным.

Знакомство с Достоевским состоялось в первые же дни после приезда Корвин-Круковских в Петербург; оно живо и подробно описано Ковалевской в ее воспоминаниях. В высшей степени нервный, болезненно страстный, Достоевский сразу влюбился в Анну Круковскую, но совершенно не заботился завоевать ее сердце, а хотел взять его даже совсем без боя. Это не понравилось капризной и избалованной красавице; она сама удивлялась, что не могла полюбить его и объясняла это так: «Ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем посвятить ему себя, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный и требовательный». Младшую Корвин-Круковскую Достоевский нашел очень красивой, восхищался ее цыганскими глазами, хвалил некоторые ее стихотворения, прочитанные ему Анной; но вообще относился к ней как к прелестному ребенку. Безграничная страсть Достоевского, так испугавшая Анну, пришлась как нельзя более по характеру Софье, она думала: «Как может сестра отталкивать от себя такое счастье?» Она готова была сама по уши влюбиться в Достоевского, и это, вероятно, случилось бы, если бы Достоевский относился к ней иначе и если бы в ней в то время не говорило так сильно другое чувство – стремление к высшему образованию, права на которое надо было еще завоевать. Множество других впечатлений скоро изгладило следы чуть зарождавшейся любви. Достоевский, во всяком случае, не принадлежал к числу тех новых людей, познакомиться с которыми так неудержимо хотелось обоим сестрам.

Молодежь в то время отличалась многими особенностями; в ней замечалось большое оживление и горячая, безграничная вера в осуществление на Руси всего светлого, прекрасного, благородного, возвышенного. Эта вера в себя и в человека вообще составляет отличительную черту того времени. Самые обыкновенные женщины считали себя в то время способными жертвовать всем для какой-нибудь слишком отвлеченной идеи и мечтали о высшем образовании. Самые «чувственные» молодые люди женились на женщинах, не представляющих в этом отношении ничего привлекательного. Может быть, в то время было много лицемерия, много так называемых сделок с самим собою, но

основой всего этого все-таки была вера во все лучшее. Откуда, однако, взялась такая вера? В пятидесятых годах русское общество зашевелилось, и это оживление напоминало то, какое мы замечаем в природе перед восходом солнца. Новой зарей для нас явилось освобождение крестьян в 1861 году.

Душою всех союзов между людьми всегда бывает вера; она же соединяла и сплачивала воедино молодежь шестидесятых годов. Литература, служащая всегда отражением жизни, в шестидесятых годах играла свою обычную роль и, может быть, никогда еще связь между читателем и писателем не была так крепка, как в то время. Проводником новых идей в семье Корвин-Круковских явилась старшая дочь Анна. Занятая своими уроками, Софья долгое время в этом отношении была только отголоском старшей сестры. Самостоятельное увлечение Софьи идеями шестидесятых годов началось только в Петербурге в 1868 году. Вспоминая потом об этом периоде своей жизни, Ковалевская говорила своему другу, шведской писательнице Леффлер:

«Мы так сильно увлекались новыми идеями, открывавшимися перед нами, мы так глубоко были убеждены, что существующее состояние общества не может долго продлиться, мы уже видели наступление нового времени, времени свободы и всеобщего просвещения, мы мечтали об этом времени, мы были глубоко убеждены, что оно скоро наступит!

И нам была невероятно приятна мысль, что мы живем одною общей жизнью с этим временем.

Когда трем или четверем из нас, молодежи, случалось где-нибудь в гостиной встретиться впервые среди целого общества старших, при которых мы не смели громко выражать своих мыслей, нам достаточно было намека, взгляда, жеста, чтобы понять друг друга и узнать, что мы находимся среди своих, а не среди чужих. И когда мы убеждались в этом, какое большое, тайное, непонятное для других счастье доставляло нам сознание, что вблизи нас находится этот молодой человек или эта молодая девушка, с которыми мы, быть может, раньше и не встречались, с которыми мы едва обменивались несколькими незначущими словами, но которые, как мы знали, одушевлены теми же идеями, теми же надеждами, тою же готовностью жертвовать собою для достижения известной цели, как и мы сами».

В то время, когда Корвин-Круковские появились в Петербурге, среди молодых женщин и девушек заметно было сильное стремление к высшему образованию, которое выразилось между прочим в прошении, поданном ими первому съезду естествоиспытателей. В 1868 году приехала в Петербург первая женщина-врач Суслова; о ней кричали, ею гордились. Имя Ковалевской, урожденной Корвин-Круковской, также находится в знаменитом в летописях женского образования прошении, и можно с уверенностью сказать, что из числа желавших высшего образования она более всех была к нему подготовлена. Женские гимназии в первое десятилетие своего существования дали немного в смысле научной подготовки. По выходе из гимназий лучших учениц ждало горькое разочарование и им приходилось наверстывать потерянное время. Имевшие средства брали отдельные частные уроки, менее состоятельные составляли кружки и в складчину приглашали хорошего учителя. Этим кружкам тогда не было числа. Вскоре же открылись так называемые «Аларчинские курсы», имевшие то же назначение – пополнение пробелов среднего образования, и эти курсы были переполнены. Этим неудержимым стремлением женщин к высшему образованию окончились шестидесятые годы, начавшиеся освобождением крестьян. И мужчины в то время увлекались «женским вопросом», являясь более или менее истинными союзниками женщин, искавших высшего образования.



**Александр Николаевич Страннолюбский.**

Итак, Ковалевская приехала в Петербург как раз вовремя и кстати и сразу заняла самое видное место в полчище женщин, стремившихся к высшему образованию. В то время как бывшие гимназистки и институтки рядами и шеренгами шли к своей цели, она уже брала уроки аналитической геометрии и дифференциального исчисления у А. Н. Страннолюбского. Об этих уроках она всегда вспоминала с восторгом, потому что здесь впервые открылась перед ней вся ширь и глубина «науки наук». Необыкновенно быстрые успехи, оцененные по достоинству знающим, талантливым наставником, искренним и восторженным приверженцем женского образования, окрылили ее и утвердили в намерении поступить в какой-нибудь иностранный университет; двери русских университетов в то время были закрыты для женщин. Ковалевская была уверена, что отец не пустит ее одну учиться за границу, и не знала, как быть; по молодости лет и незнанию жизни она подчинилась старшей сестре и приятельнице последней, искавшей того же выхода посредством фиктивного брака.

Такой план освобождения был совершенно во вкусе мечтательной, пылкой и плохо понимавшей действительность Анны Крукоской. Не

обсудив хорошенько, не существует ли возможности уговорить отца отпустить их учиться за границу, она деятельно принялась искать «освободителей» от мягкой и доброй матери и только на вид сурового, но в сущности нежно любящего, заботливого – и, вдобавок, просвещенного – отца, который мог понять и оценить истинное призвание к науке. Беда была еще в том, что Анна, не подготовленная к университетской скамье, жаждала не науки, а жизни – самой разнообразной и полной всякого рода событий и приключений.



**Владимир Онуфриевич Ковалевский.**

Семнадцатилетняя Софья искренно верила Анне, что и для нее нет спасения без фиктивного брака одной из них. К тому же она сама обладала большой интенсивностью желаний, которая часто заставляла ее выбирать самый краткий путь для достижения цели. Одним словом, ей захотелось, загорелось ехать учиться; отца же, во всяком случае, нельзя было уломать скоро. И вот после некоторых тщетных поисков «освободителя» сестры попали на вполне подходящего человека. Это был Владимир Онуфриевич Ковалевский. В то время он был еще очень молод, но уже обращал внимание своими талантами и славился необыкновенным знанием языков. Окончив курс правоведения, он не пошел тою торной дорогой, которая ему открывалась, но, чувствуя склонность к естественным наукам, думал

отправиться за границу учиться; он не был богат и, вероятно, для приобретения средств занялся переводом и изданием естественнонаучных сочинений. Переводы свои он диктовал так быстро, что утомлял писавших. По наружности своей Ковалевский всего менее подходил к изящным девицам Корвин-Круковским. Довольно тщедушный, рыжеватый, с большим мясистым носом, он, вероятно, не обратил бы на себя их внимания, если бы дело шло о любви, и они, может быть, и не заметили бы тогда его добрых, умных, живых голубых глаз, большого белого лба, его поистине братского отношения к женщинам, которому он оставался верен всю свою жизнь. Такой человек как нельзя более годился для роли «освободителя»; и вот, встречая его у знакомых, Анна Круковская вошла с ним в переговоры и предложила вступить с нею в фиктивный брак. Но Ковалевский соглашался жениться на Софье Круковской, уклоняясь от руки Анны и ее подруги. Трудно решить вопрос, был ли Ковалевский влюблен в младшую Корвин-Круковскую или она просто была симпатична ему, как и решительно всем, кто ее видел в то время. Вот как описывает ее одна подруга, познакомившаяся с ней в то время и ставшая потом ее лучшим другом:

«Она производила совершенно своеобразное впечатление своею детскою наружностью, доставившей ей ласковое прозвище „воробышка“. Ей минуло уже восемнадцать лет, но на вид она казалась гораздо моложе. Маленького роста, худенькая, но довольно полная в лице, с коротко обстриженными вьющимися волосами каштанового цвета, с необыкновенно выразительным и подвижным лицом, с глазами, постоянно менявшими выражение, то блестящими и искрящимися, то глубоко мечтательными, она представляла собою оригинальную смесь детской наивности с глубокою силою мысли. Она привлекала к себе сердца всех своею безыскусственною прелестью, отличавшею ее в этот период жизни; и старые, и молодые, и мужчины, и женщины – все были увлечены ею. Глубоко естественная в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения. Она (в то время) не обращала ни малейшего внимания на свою наружность и свой туалет, который отличался необыкновенною простотою, с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей ее всю жизнь».

Во всяком случае, если Ковалевский и чувствовал к младшей



Круковской тогда нечто больше обыкновенной симпатии и сочувствия к ее стремлению, то он не отдавал себе в этом отчета, – это было бы слишком обыкновенно и обыденно. Скорее можно думать, что Ковалевский как умный человек заметил выдающуюся талантливость молодой девушки и ему захотелось именно ей открыть дорогу к науке.

Как бы то ни было, выбор Ковалевского привел в отчаяние обеих сестер и подругу старшей; они не рассчитывали, чтобы Корвин-Круковский дал согласие на брак младшей дочери. Анна и ее подруга успели уже порядочно насолить родителям и так утомили их своими эксцентричными выходками, что родители сочли бы для них и не особенно блестящую партию счастливым исходом; Софа же только начинала жизнь, она была гордостью своего отца, и ее ждала, по его мнению, блестящая будущность. Предположения сестер не сбылись; заметив настойчивое желание своей дочери выйти замуж за Ковалевского, отец дал свое согласие – с болью в сердце, но дал. Из этого можно заключить, что он пустил бы дочь и учиться за границу, конечно не одну, а хоть с той же Маргаритой Францевной, как отпускали своих дочерей другие заботливые отцы. По нашему мнению, этот фиктивный брак не был вызван никакой необходимостью и в нем нельзя винить родителей Ковалевской.

Выходя замуж фиктивным браком, Ковалевская чувствовала себя счастливой и глубоко гордилась тем, что была, так сказать, героиней романа, совершенно непохожего на обыкновенные банальные любовные романы. Действовать наперекор природе было отличительной чертой истинных людей шестидесятых годов, а Ковалевская, несомненно, принадлежала к их числу. В основе всего этого лежало идеальное стремление стать выше человеческой природы, но природа многим из них жестоко отомстила за себя, и до сих пор еще многие и многие расплачиваются за то, что не хотели знать в молодости ни природы человека вообще, ни своей в особенности. Заплатили этому дань и Ковалевские.

1 октября 1868 года в селе Палибино была торжественно отпразднована свадьба Владимира Онуфриевича Ковалевского с Софьей Васильевной Корвин-Круковской. На свадьбу в числе прочих гостей был приглашен бывший учитель ее Малевич. После венчания в приходской церкви был роскошный обед; во время обеда уже подана была карета для новобрачных, которые тотчас же уехали в Петербург.

Вероятно, Корвин-Круковские скоро бы догадались, с какою целью был заключен брак, если бы молодые день-два провели в Палибине; но родители остались в деревне, а молодые поселились в Петербурге, где

каждый из них продолжал свое дело: он занимался изданиями и переводами, она продолжала свои уроки математики у Страннолюбского. Родители хотя и не отдали всего приданого дочери, но все-таки дали ей двадцать тысяч, так что отъезд за границу был обеспечен. Вырвавшись на волю, Ковалевская не забыла сестры и упросила родителей отпустить с ней на следующую зиму за границу и Анну. Старики согласились и на это.

В первое время юная Ковалевская сильно краснела, когда ей приходилось называть своим мужем совершенно, в сущности, постороннего ей человека; но вскоре она привязалась к своему «освободителю», и в Петербурге они были неразлучны: их всюду встречали вместе – в театрах и на лекциях Сеченова. Всех интересовала тогда эта парочка, и многие жалели Ковалевского, что его милая жена никогда не будет принадлежать ему вполне; другие же утверждали, что она должна посвятить себя одной науке. Весною 1869 года Ковалевские отправились в Гейдельберг; она стала посещать лекции математики, а он начал заниматься геологией. Вместе с Ковалевскими уехала за границу также и молодая девушка Лермонтова с целью заниматься химией; впоследствии и она получила степень доктора химии в Геттингенском университете. Ковалевская познакомилась с нею в Петербурге и узнала, что та тоже желала бы ехать за границу учиться, но ее не пускают родители, живущие постоянно в Москве. У Ковалевской мелькнула смелая мысль поехать в Москву прямо в дом к совершенно незнакомым ей людям и упросить их отпустить дочь за границу. И действительно, она как нельзя лучше это выполнила. Пробыла два дня в Москве, совершенно очаровала родителей девушки, и они согласились отпустить дочь с такою обворожительною дамой за границу. Этой подруге мы обязаны описанием их совместной жизни в Гейдельберге и в Берлине.



**Гейдельберг. 2-я половина 19 века.**

В Гейдельбергский университет Ковалевская и Лермонтова поступили в летний семестр 1869 года. На каникулы же последняя отправилась к родителям в Россию, а Ковалевские поехали в Лондон, где им удалось познакомиться со многими выдающимися людьми того времени: Джордж Элиот, Дарвином, Спенсером и другими. К зимнему семестру Ковалевские опять приехали в Гейдельберг, где застали уже свою подругу.

Подруга с удовольствием вспоминает эти первые месяцы в Гейдельберге, восторженные споры о всевозможных предметах, поэтическое отношение Софы к молодому мужу, который в то время любил жену совершенно идеальной любовью, без малейшей примеси чувственности. Она, по-видимому, с такою же нежностью относилась к нему.

«Лекции начались тотчас после нашего приезда. Днем мы все время проводили в университете, а вечера свои посвящали также занятиям. Но зато по воскресеньям мы всегда делали

большие прогулки в окрестностях Гейдельберга, а иногда ездили и в Мангейм, чтобы побывать в театре; знакомых у нас было очень мало, и мы только в очень редких случаях наносили визиты некоторым профессорским семьям».

Ковалевская вскоре обратила на себя внимание своих знаменитых профессоров: Кенигсбергера, Кирхгофа и других. В небольшом университетском городе она приобрела такую известность, что матери показывали на нее детям на улице. Несмотря на это, она держалась в стороне от профессоров и студентов и отличалась некоторой застенчивостью. В университет она входила не иначе, как с опущенными глазами. Она разговаривала с товарищами только тогда, когда это было абсолютно необходимо для ее занятий. Эта скромность не была напускною в этот период ее жизни. Вернувшись однажды из университета, она рассказала своей подруге, что ей во время лекции бросилась в глаза ошибка, которую один из студентов сделал в вычислениях на доске. Ковалевская долго колебалась, наконец решилась и с сильно бьющимся сердцем подошла к доске и указала на ошибку. В Россию доходили слухи об успехах в Гейдельберге нашей Ковалевской, и ею гордились, на нее указывали все те, кому были дороги успехи женского образования.

На следующий год в гейдельбергскую колонию приехала Анна, а потом бежала из России ее эксцентричная приятельница, пожелавшая посвятить себя юриспруденции. Смелый побег последней привел в восторг Ковалевскую, и она приняла подругу с распростертыми объятиями. Первое время родители подруги, рассердившись на дочь, ничего ей не высылали; Ковалевская приютила ее у себя, но вскоре им всем стало тесно и неудобно. Ковалевский первый уехал из Гейдельберга в Йену, где и получил степень доктора геологии за работу, давшую ему солидную известность. Осенью 1870 года Ковалевская со своей подругой уехала в Берлин; Анна же была уже давно в Париже, где занималась политикой. Ее подруга осталась верной Гейдельбергу и, окончив там курс, получила степень доктора права.

В Берлин тянула Ковалевскую молва о первом математике в Западной Европе – Вейерштрассе, многочисленные ученики которого разносили славу его по всему свету. Несмотря на все старания, ей не удалось попасть в университет, хотя за допущение ее туда стояли такие светила науки, как Вейерштрасс, Дюбуа-Реймон, Вирхов и Гельмгольц. Пришлось просить Вейерштрасса заниматься с ней частным образом, но она хорошо знала, что бескорыстный и сильно занятый Вейерштрасс ни за какие деньги не

согласится давать ей частные уроки. Ковалевская имела понятие о Вейерштрассе по рассказам его учеников; его можно было взять только талантом и любовью к науке. Она сознавала, что нет у нее недостатка ни в том, ни в другом; но все же ее волновала мысль предстать пред этим великим математиком.

Вейерштрасс не только по своему математическому гению, но и по возвышенному характеру занимает одно из первых мест среди замечательных людей XIX века. Он прошел тяжелую школу нужды и долгое время был учителем в гимназии. В молодости своей он, вопреки немецкому обычаю, влюбился в девушку, стоявшую несравненно выше его по своему общественному положению, и потому остался на всю жизнь неженатым. В молодости же Вейерштрасс писал стихи. Вообще, ум его отличается большой разносторонностью. Он столько же глубокий философ, сколько математик; голова его вмещает бесчисленное множество идей, которые разрабатываются целой армией его учеников. Он меньше всего заботился о деньгах и славе, но вторая, то есть слава, явилась сама собой. Материальные же средства его долгое время были ограниченнее, чем у многих других заурядных профессоров, между тем он и ими всегда делился со своими сестрами, живущими вместе с ним.

Ковалевская в первый раз явилась к Вейерштрассу в сумерки; он принял посетительницу, не взглянув на нее хорошенько и, желая подвергнуть ее необходимому испытанию, предложил взять с собою несколько трудных задач. Когда через неделю она принесла ему решения данных задач, он поднял на нее свои удивленные глаза и увидел ее милое, умное лицо, имевшее некоторое сходство с предметом его любви. Он с радостью заявил о готовности с нею заниматься. Вейерштрасс не читал ей лекций, а прямо руководил ее работами по математике; она завоевала его сердце, и он сделался навсегда ее другом. Раз в неделю он приходил к ней, а по воскресеньям она бывала у него.

Жизнь Ковалевской и ее подруги в Берлине была еще более однообразной и уединенной, чем в Гейдельберге. Первая целые дни проводила за письменным столом, а вторая с утра до вечера занималась в лаборатории. Ковалевская всё время была в каком-то подавленном и грустном расположении духа, она не выходила из дома и забыла о существовании театра, к которому всегда имела влечение. На Рождество добродушный Вейерштрасс устраивал елку, на которой обе подруги непременно должны были присутствовать. Ковалевская чувствовала себя младшей сестрой в доме своего учителя, где только что не носили ее на руках; но дружба с Вейерштрассом не могла наполнить всей ее души: он

был намного ее старше, к тому же как немец он не понимал многих особенностей нашей русской жизни. Например, он никак не мог понять отношений Ковалевской к мужу, и она не пыталась даже объяснять ему их; не надо быть гениальным, но необходимо быть русским, чтобы понять всё это. Она отдавалась самой усиленной умственной работе, на какую только была способна, очень мало спала по ночам, и сон ее всегда был беспокойен. Она отличалась чересчур нервным темпераментом и большой стремительностью. Ее подруга, занимавшаяся химией, вполне понимала эту сложную, тонкую природу и скоро привязалась к ней так, что жизнь без Ковалевской стала казаться ей неинтересной и скучной.

Из-за непрактичности обеих подруг им очень плохо жилось в Берлине: они всегда жили на дурной квартире, питались дурной пищей, дышали дурным воздухом и не пользовались никакими развлечениями. Всё это, вместе с утомительной работой, подточило здоровье Ковалевской. Она похудела до того, что лицо ее из круглого сделалось овальным, и глаза смотрели грустно и утомленно. Ко всему этому присоединялись нравственные страдания; неестественность отношений ее к мужу сказывалась всё яснее, недоразумение следовало за недоразумением. Они подружились тотчас же после свадьбы, и он очень нежно о ней заботился, когда бывал с нею. Вероятно, если бы он был и по имени посторонним ей лицом, то она была бы ему за все это благодарна. Но человек никогда не может отрешиться от власти, которую имеют над ним слова. Слова «муж» и «жена» путали и сбивали с толку их обоих. Ковалевская не чувствовала к мужу никакой страсти и в то же время приходила в ужас, что он может полюбить другую женщину. Теперь он ей все же принадлежал. Она боялась круглого одиночества; жизнь ее сложилась так, что она совершенно лишена была в то время мужского общества, и другого, более подходящего человека у нее тогда не было. Следствием всего этого было то, что их постоянно тянуло друг к другу: она была счастлива в первые минуты свидания, затем оба начинали чувствовать, что это все не то, и разъезжались с горьким чувством в разные стороны, каждый предаваясь со страстью своему делу. Из года в год повторялась та же история. И это уносило немало сил у них обоих. У Ковалевской, сверх того, были и другие печали. Она только что кончила одну математическую работу, но, как часто бывает, встретила в решении вопроса с другим математиком, известным профессором Шварцем, который уже напечатал свою работу в то время, когда Ковалевская только приготовила свою к печати. Она очень уважала математика Клебша, профессора и ректора Геттингенского университета, и ей хотелось получить из его рук докторский диплом; к несчастью, он умер

как раз в то время, когда она собиралась послать ему свое сочинение об Абелевских функциях. Это ее так огорчило, что она на некоторое время отложила представление работы в Геттингенский университет.

Занятия Ковалевской нарушались поездками в Париж к сестре, и там ей приходилось поневоле разделять бурную судьбу своей сестры, переживать много разного рода треволнений и даже подвергать свою жизнь опасности.

Анна Корвин-Круковская, не имея никакой склонности к занятиям наукой, как мы сказали, скоро оставила Гейдельберг и потихоньку от родителей уехала в Париж. Письма ее к своим в Россию пересылала сестра, которая вообще была всегда заодно со своей Анютой. В Париже Анна занялась политикой, влюбилась во француза, сделавшегося одним из видных членов Коммуны. Она разделяла и увлечения, и судьбу своего возлюбленного, который был приговорен к смертной казни. Ковалевская и ее муж провели с сестрой дни осады Парижа!.. Потом она взяла на себя открыть родителям обман сестры, объяснить ее положение, выпросить у них прощение, умолить их употребить все усилия спасти жениха дочери.



**Виктор Жакляр.**

Отец и мать не только простили, но сами отправились в Париж и выручили из беды дочь и будущего зятя, Жакляра. После свадьбы молодые поселились в Цюрихе; им нельзя было ни жить во Франции, ни ехать в Россию, куда так тянуло уставшую от всего пережитого г-жу Жакляр, когда-то так скучавшую в покое, тишине, на приволье деревенской жизни!

Устроив дела своей сестры, Ковалевская засела за письменный стол. Она отдыхала только во время каникул, которые проводила то в деревне у отца с матерью, то с сестрой в Швейцарии, то в путешествиях с мужем.

В деревне она занималась математикой с братом, который обнаруживал большие способности к этой науке, а в доме сестры предавалась чтению произведений русской и иностранной беллетристики и беседовала о них с сестрою с большим наслаждением. Она всегда принимала живейшее участие во всех событиях жизни своей сестры. Когда у Жакляров родился сын Юрий, то она приехала в Цюрих вместе с отцом и матерью и с большой любовью связала одеяльце своему племяннику. Материальное положение обеих сестер было не блестяще. Превосходные издания работ Ковалевского приносили очень мало дохода, а Жакляр лишен был в то время возможности зарабатывать деньги: он готовился к экзамену на доктора медицины; родители давали всем своим детям поровну, по тысяче рублей в год. Ковалевская в эту пору своей жизни держалась в стороне от большого света и говорила, что не желает знакомиться с ученым миром до тех пор, пока не напечатает докторской диссертации и не займет в ученом мире своего места. Разумеется, ей приходилось изменять иногда этому решению; нашу соотечественницей и тогда настолько интересовались, что ей не всегда удавалось избежать знакомств с учеными. Так, например, когда она гостила у сестры в Цюрихе, ей пришлось завязать знакомство с одним цюрихским профессором, любимым учеником Вейерштрасса, который очень настойчиво желал ее видеть и сам ее настолько очаровал, что ей пришла в голову мысль принять его предложение – остаться в Цюрихе и заняться вместе с ним решением одного вопроса из области математики. Но эта мысль тотчас была отброшена; она знала, что, оставшись на зиму в Цюрихе, глубоко огорчит своего старого учителя и друга – профессора Вейерштрасса. Он в ее отсутствие был сделан ректором Берлинского университета и тотчас написал ей, что, несмотря на новые обязанности, сопряженные с большой тратой времени, рассчитывает продолжать свои занятия с нею.





### **Карл Вейерштрасс.**

Пришлось собираться в Берлин – на том же настаивала сестра: надо было кончить начатые работы, а не приниматься за новые.

Через год она представила в Геттингенский университет три работы, из которых каждая заслуживала степени доктора, – о кольце Сатурна, об Абелевских функциях и о дифференциальных уравнениях с частными производными; последняя тотчас была напечатана в известном математическом журнале Крелля, а первые две появились в печати несравненно позднее. Здесь мы наталкиваемся на интересный вопрос: почему же две первые работы не были напечатаны так долго? Ответ мы найдем в особенностях нравственной природы Ковалевской. Она всегда стремилась к чему-нибудь трудному, с глубокой страстью любила все сокровенное, недоступное, постоянно ставила себе сложные задачи в науке и в жизни, но пользоваться и наслаждаться плодами своего труда было не в ее характере. В этом проглядывала прежде всего черта, свойственная всем русским: не ценить своего труда; можно с достоверностью сказать, что менее важная работа не залежалась бы ни у одного немца. Но Ковалевская

так настойчиво стремилась к достижению цели и, достигнув ее, настолько уставала, что не могла радоваться, но погружалась в меланхолию и чувствовала недовольство собою. Это особенно сказалось после получения степени доктора; нуждаясь в глубоком и продолжительном отдыхе, она отправилась в Палибино, где на лето собралась вся семья.

## Глава V

*Опять на родине. – В Палибине и в Петербурге. – Совместная жизнь Ковалевских. – Что привело их к коммерческим предприятиям. – Рождение дочери Софьи. – Участие в делах Высших женских курсов. – Разорение Ковалевских. – Различное отношение обоих супругов к ударам судьбы. – Начало несогласий между ними. – Реферат Ковалевской на съезде естествоиспытателей в 1880 г. – Ковалевская снова отдается математике.*

Летом 1874 года все прежние обитатели и обитательницы Палибина собрались наконец опять вместе. И Жакляров, и Ковалевских радостно встретили отец, мать, брат, теперь совсем взрослый молодой человек, их прежний учитель Малевич и все домочадцы. Малвичу Корвин-Круковский предложил жить в Палибине на покое в благодарность за воспитание детей.

Обе сестры первое время чувствовали себя прекрасно в родном гнезде. Маленький Юрик Жакляр, только что выучившийся ходить, переходил с рук на руки; прислуга радовалась, что барчонок беленький – весь в мать, а не смуглый, в отца. Дедушка с бабушкой, разумеется, наглядеться не могли на первого внука, особенно бабушка, находившая в маленьком Юрике сходство со своим отцом.

Г-жа Жакляр смотрелась в знакомые ей зеркала и просто себя не узнавала. В последнее время в Париже и в Швейцарии ей некогда было обращать на себя внимание, и она считала себя все такой же тонкой, белокурой, с прозрачной кожей, какою была в Палибине. Теперь только она заметила, что изменилась не к лучшему, потолстела и погрубела. Меньшая сестра тоже сознавала, что она изменилась, но не могла не чувствовать, что к лучшему. И немудрено, ведь она была на семь лет моложе своей сестры.

Восемь лет тому назад она представляла из себя только бутон. Годы серьезных занятий и лишений задержали расцвет ее красоты, зато теперь в несколько недель она совершенно изменилась при благоприятных условиях; она замечала, что поправлялась, полнела, но ей далеко было до толщины; цвет лица ее улучшался с каждым днем. Все замечали это и говорили, что Софе здоров палибинский воздух. Она соглашалась, но лицо ее принимало грустное выражение, когда кто-нибудь напоминал о ее красоте. Однако здесь она все-таки больше занималась собой, чем в Берлине, и сшила себе несколько нарядных платьев. Ковалевский только заезжал в Палибино ненадолго, потому что, увы, отношения их все как-то

оставались невыясненными. Жакляр тоже был в Петербурге и приехал в начале сентября; жена сильно тяготилась его отсутствием и поехала чуть не за сто верст к нему навстречу.

На другой день по приезде Жакляра жена взяла его под руку и водила по дому и саду, с восторгом показывая свои любимые места или же связанные для нее с какими-нибудь воспоминаниями. Он рассеянно, снисходительно слушал и смотрел как-то устало, пренебрежительно. С таким же лицом он принимал любезности своей тещи и возмущал всех, но все обращались с ним осторожно, как с «больным местом» так много выстрадавшей Анюты. Для того чтобы приехать в Россию, Жакляру пришлось натурализоваться в Швейцарии и несколько изменить свою фамилию: он присоединил часть фамилии жены – «Корвин». Ковалевская обходилась в то время с зятем так же, как и все другие члены семьи, он же был к ней гораздо благосклоннее, чем ко всем остальным. В глубине души она, конечно, была глубоко возмущена тем, что он только позволяет Анюте любить себя, а не выказывает к ней никакого «энтузиазма». Но блестящая Анюта, когда-то боявшаяся, что Достоевский заставит ее жить его собственными интересами, теперь жила исключительно жизнью своего мужа – это сделалось как-то вполне естественно. Сперва ей приходилось дрожать за его жизнь, потом думать о том, как устроить его и вместе свою судьбу. Так как у нее не было никакой определенной деятельности, то вся будущность ее ребенка находилась в руках мужа. Он был человек энергичный, работал усердно, но все как-то не мог ни на чем долго остановиться. В Швейцарии он получил степень доктора медицины, а приехав в Россию, решил сделаться учителем французского языка. Опять приходилось ему пробивать себе совершенно новую дорогу, а ей за него волноваться... Корвин-Круковским все это, конечно, было не по вкусу, однако они примирились с участью своих дочерей, хотя и заботились о них. Все надежды их теперь были устремлены на сына, которому минуло девятнадцать лет. Это был красивый юноша, до того напоминавший младшую сестру, что его называли Софой в мужском платье; он прекрасно учился, не обнаруживал никаких стремлений к необыкновенному и не причинял родителям вообще никаких огорчений. Он любил деревню не той поэтической любовью, которую питали к ней сестры, но вникал во все мелочи хозяйства, считая все безраздельно своим. У Корвин-Круковских было три имени: Палибино и еще две деревни, – и когда и дочери и сын были детьми, каждому из них обещали по имению. Теперь в планах родителей произошли перемены: все имена должны были по смерти обоих родителей перейти к сыну; сверх того ему принадлежала третья

часть капитала. Меньше всех приходилось на долю Ковалевской – всего 30 тысяч, так как 20 тысяч были взяты ее мужем раньше. Итак, той и другой сестре надо было подумать об обеспечении своего будущего. Несмотря на ласки и заботу родителей обе дочери вскоре почувствовали себя отрезанными ломтями. Госпожа Жакляр с грустью думала, что ее Юрику ничего не будет принадлежать в Палибине.

Обе сестры прожили несколько лет кое-как, особенно старшая, и теперь снова очутились окруженные удобствами, к которым привыкли с детства. У старшей Круковской проснулось сильное желание создать себе уютный уголок и завести собственность; она то и дело давала советы Юрику: попроси у бабушки жеребенка и пусть он будет твой, попроси у бабушки телку – у тебя будет своя корова. Ковалевская с грустной улыбкой слушала сестру и думала: «Боже, как непохоже все это на то, о чем они мечтали в юности!» Пока Жакляр был в Петербурге, они были ближе с сестрой и, гуляя вместе по палибинскому парку, молодели душой. Тогда младшая сестра спрашивала старшую: «Отчего ты так рвалась отсюда, искала свободы?» Та отвечала: «Я хотела жить, мне нужны были сильные ощущения». В юности Анна сама создавала себе причины для волнений, теперь она, достаточно их испытав, устала, к тому же у нее был живой источник радостей и страданий: страстно любимый и довольно равнодушный к ней муж. Горячая любовь ее к нему возбуждала чувство зависти в сестре, не испытывавшей ничего подобного. Первая молодость Ковалевской исключительно отдана была науке; утомленная этими занятиями, она искала отдыха и хотела, чтобы возле нее был человек, исключительно ей преданный. Отношения с Ковалевским она называла своей «ношей». Теперь ей предстояло решить вопрос: сделаться ли ей настоящей женой его или разойтись с ним совсем, – дальше тянуть канитель было невозможно. Пока они оба со страстью предавались науке, можно было откладывать это решение за неимением времени. А теперь? Ни у того, ни у другого не было более сильной привязанности; она сознавала, как трудно найти другого такого талантливого, мягкого человека, понимавшего ее цели и стремления. И он думал: «Ну разве может быть женщина лучше, интереснее Софы; она очень требовательна, но разве она не имеет на это права?» Неопределенность их отношений страшно его тяготила.

Ковалевская желала и не желала его приезда в Палибино, между тем ей больше чем когда-нибудь хотелось сильной привязанности. Она ревновала сестру к мужу, мать – к брату и племяннику и остановилась на отце: горе и старость сделали его более мягким и терпимым, он был

человек умный, имел понятие о математике, и Софья была его любимой дочерью. Ковалевская думала, что сердце отца безраздельно принадлежало ей; предпочтение же брату она объясняла влиянием матери, у которой Федя был всегда любимчиком.

Ревнуя таким образом своих, она питала к ним ко всем нежные чувства, и жизнь в Палибине текла себе мирно и весело; очень часто вся семья собиралась в бывшей большой классной, где висели карты, начерченные младшей Корвин-Круковской, и все с удовольствием вспоминали прошедшее. Когда по временам приезжал Ковалевский, он принимал участие в общей жизни и даже, несмотря на всю свою неспособность к сцене, играл в домашних спектаклях, участвуя в празднествах, устраиваемых Малевичем в честь своей бывшей ученицы.

Госпожа Жакляр была превосходной актрисой, сцена была ее настоящим призванием; но теперь она, разумеется, оставила мечты своей юности и вела оживленные разговоры с мужем о том, как они поедут в Петербург и устроятся на зиму. Ковалевские тоже занимались подобными разговорами, но здесь они имели другой характер: надо было еще определить взаимные отношения. Не договорившись ни до чего окончательно, Ковалевские решили попробовать жить в Петербурге вместе.

В отдыхе и в устройстве семейных дел прошло все лето, на зиму Ковалевские отправились в Петербург, где у них восстановились прежние знакомства и завязались новые; они попали в круг людей разбогатевших, живших припеваючи; на них самих сразу стали смотреть как на богатых людей, а между тем средства их были тогда очень ограниченными и ждать многого в будущем было нельзя. Ковалевская уже знала, что по смерти отца получит тридцать тысяч; она до того времени никогда не думала о средствах и теперь, чувствуя себя в этом отношении совершенно беспомощной, возлагала все надежды на мужа. Ковалевский, истративший на издания своих трудов половину состояния жены, чувствовал себя обязанным позаботиться о ее материальном положении.

Сперва он надеялся получить профессию: работа его по геологии была настолько замечательной, что он смело мог рассчитывать на это. Но с ним произошло то, что нередко случается с талантливыми людьми: ему предпочли менее даровитых, но более «своих» людей. Он скоро понял, что кормиться наукой будет трудно.

Ковалевская тоже, несмотря на свои обширные познания по математике, могла зарабатывать деньги, только сказав «навек прости» научной деятельности. К тому же русские математики встретили ее недружелюбно и одно время не хотели ее признавать. Это обуславливалось

до некоторой степени антипатией к немецкому направлению в математике. Ласковый прием и оценку своего таланта Ковалевская сперва нашла только в нашем знаменитом математике Пафнутии Львовиче Чебышеве. Из других профессоров Ковалевские были на дружеской ноге с Сеченовыми и вели знакомство с Бутлеровым и Менделеевым; но главным образом они, как мы сказали, вращались в среде интеллигентных людей, преданных душой житейским интересам. Ковалевские на каждом шагу встречали людей, легко и скоро обогатившихся, и им очень естественно пришла в голову мысль употребить деньги на какое-нибудь выгодное предприятие, чтобы потом, нажив состояние, спокойно заниматься наукой. Ковалевский был страстным геологом и для самого себя не нуждался ни в каком комфорте. Жена говорила о нем: ему был бы стакан чаю да книга. Потребности ее были сложнее и разнообразнее: она любила театр, наряды, блеск и шум. Обо всем этом она совершенно забывала, когда ею овладевала какая-нибудь мысль, но в те минуты, когда «святая лира молчала», ей страстно хотелось всего этого, и муж ей вполне сочувствовал; не признавая для себя нужными никакие земные блага, он считал их необходимыми для Софы. Итак, они были заодно, – это их сблизило. Они вместе строили планы грандиозных предприятий, но у них не было денег, – приходилось пока Ковалевскому искать места и жить кое-как. К несчастью, старик Круковский скончался, и Ковалевская получила свои деньги. Смерть отца поразила дочь и как-то еще больше отдалила ее от матери, которая приехала жить в Петербург и поселилась с Жаклярами и с сыном. Круковские наняли большую квартиру на Васильевском острове и жили привольно, часто устраивая музыкальные вечера. Корвин-Круковская, внимательная ко всем и приветливая, пользовалась общей любовью. Она сохранила свой веселый и ровный характер и к тому же все еще была превосходной музыкантшей. Ковалевская посещала довольно аккуратно вечера своей матери, на которых большую роль играл Жакляр: он как француз очень нравился русским. Ковалевский, наоборот, почти не присутствовал на этих собраниях. Чувствуя себя все более чуждой в своей семье, Ковалевская все сильнее привязывалась к мужу. Семья не одобряла их «предприятий», – она же видела в них единственное спасение. Никто из родных не мог войти в ее положение, все были богаче ее в данный момент. Жакляры обладали капиталом в пятьдесят тысяч, сверх того он зарабатывал порядочно уроками французского языка; мать и брата Ковалевские считали богачами сравнительно с собою. Кроме того, те жили все вместе, им было хорошо, какое им дело до нее? Конечно, у нее нет никого, кроме мужа, и только его следует ей любить. Под влиянием одиночества и таких мыслей в ней

появлялась большая нежность к мужу, которую можно было принять за любовь. У Ковалевской не было недостатка в поклонниках, но одни считали ее существом слишком возвышенным, не от мира сего; другие – просто интересной, хорошенькой женщиной. И то, и другое ее не удовлетворяло, а главное, она чувствовала, что самый преданный ей человек – все-таки Ковалевский. В этих думах о жизни и среди петербургской сутолоки время летело незаметно. Ковалевская успела пополнеть, похорошеть, отдохнуть, но «не успела» приняться за математику.

Вейерштрасс писал ей письма, посылал новые работы по математике, которые могли интересовать ее; на письма она не отвечала, а работы лежали непрочитанными. И муж, и мать, и сестра говорили ей: напиши Вейерштрассу; она же отвечала: «Напишу, когда устроюсь и опять начну заниматься математикой». Она признавалась, как ей самой становилось страшно думать, что целый год прошел бесплодно для науки. В ее портфеле лежали две совершенно готовые работы, а она медлила их печатать, рассчитывая присоединить к ним новые исследования или просто откладывая все заботы о математике в дальний ящик. Сначала «предприятия» Ковалевских пошли как нельзя более удачно: они строили дома. Ковалевский, расставшись со своими любимыми занятиями, с лихорадочным жаром принялся за новую деятельность. Он вставал рано, ел очень торопливо, как-то перехватывая всё не лету, не читал ничего, кроме газет, решительно пренебрегал своим костюмом и вообще имел вид человека, которого тянут во все стороны. Его деловые расходы были так несоразмерно велики в сравнении с личным капиталом, что приходилось всячески изворачиваться, занимать у одного, чтобы отдать другому. В потертом сюртуке, в измятой шляпе лазил он по лестницам и вел неприятные разговоры с кредиторами и с подрядчиками. В редкие свободные минуты они мечтали с женой о том колоссальном богатстве, которое создадут своими собственными руками. Деньги – сила, а силу можно употребить на процветание науки, на благо человечеству и т. д. И во всем этом была большая доля искренности. Имея деньги в руках, Ковалевские охотно помогали нуждающимся. Многие были уверены, что они страшно богаты. Он же, часто отдавая деньги, приготовленные для уплаты процентов, ставил себя в затруднительное положение и тер себе лоб, придумывая, как бы вывернуться. Часто деньги, занятые на дело, шли также на наряды жене: у него была страсть видеть Софью хорошо одетой, и он систематически развивал в ней вкус к нарядам, разжигал ее тщеславие; он настаивал, чтобы она «выезжала» и вообще заняла бы в обществе место



звезды первой величины. Оторванная от науки, она то грустила и жаловалась на серую жизнь, то искала удовлетворения в тщеславии. «У меня на каждой улице будет по дому, – говорила она полусерьезно-полушутя, – ведь вот Чебышев – великий математик, а нажил себе состояние; у него в каждой губернии по имению, одно не мешает другому». Очевидно, муж раздувал эти искры, и они обращались в пожар... Вообще, Ковалевский с восторгом развивал в жене все слабости, которым был совершенно чужд сам. Она любила сласти, и он готов был засыпать ее конфетами и с умилением смотрел, как она ела их одну за другой, забывая даже предложить их кому-нибудь из присутствующих. Он также очень хлопотал об удобстве и украшении своей квартиры, а сам проводил весь день вне дома. Одно время Ковалевские жили в отдельном доме с садом. В квартире у них было множество растений и птиц, у них была своя корова и парники в саду, где росли не только огурцы, но даже дыни и арбузы. В квартире то и дело появлялись новые вещи, между тем никто не мог сказать: вот люди, живущие с комфортом, потому что всё вместе производило такое впечатление, как будто здесь только собираются хорошо жить, и это славное житье еще впереди. Одни хорошие знакомые в шутку говорили Ковалевским: «Что вы там себе ни заводите, не будет у вас уютного уголка, потому что сами-то вы – цыгане». У многих, знавших в то время Ковалевских, являлась мысль, что Ковалевский развивает в жене разные потребности и удовлетворяет их с энтузиазмом для того, чтобы тем самым привязать ее к себе. Но вряд ли делал это сознательно. Во всяком случае, он достигал цели, она не могла себе представить, как это прежде была в состоянии обходиться без мужа. С ужасом вспоминала она жизнь в Берлине в меблированных комнатах, когда принуждена была считать каждую копейку. Теперь все было к ее услугам: театры, комфорт, разнообразное общество. Первыми она увлекалась до того, что писала даже рецензии в только что возникавшем тогда «Новом времени». Для той же газеты было написано ею несколько блестящих научных фельетонов.



**Софья Ковалевская с дочерью Соней.**

В 1878 году, в октябре, в жизни Ковалевских совершилось событие: у них родилась первая и единственная дочь Софья. Приготовления к этому дню были чрезвычайные: чуть ли не за полгода нанята была няня, которую заранее «наблюдали» и изучали; одежда, комната для ребенка – всё было заготовлено и устроено согласно новейшим выводам науки. Крестным отцом девочки был Иван Михайлович Сеченов, а крестной матерью – Юлия Всеволодовна Лермонтова, доктор химии. Несмотря на молодость Ковалевской, роды были очень тяжелые, и она совершенно от них оправилась только к весне. В эту же зиму скончалась от болезни сердца Е. Ф. Круковская. Кончина матери произвела на Ковалевскую менее глубокое впечатление, чем кончина отца; к матери вообще она была меньше привязана, а в данный момент она была совершенно поглощена новым чувством любви к ребенку.



### **Юлия Всеволодовна Лермонтова.**

Отношения с матерью были в последнее время натянутыми, потому что мать предвидела разорение Ковалевских и в сокрушении сердечном заявляла им об этом, хотя всегда в очень мягкой, деликатной форме. Круковская умерла с мрачными мыслями о судьбе своей младшей дочери и внучки, которую ей пришлось видеть только в первые дни рождения, и она с удовольствием заметила, что малютка – «вылитая Софа».

С появлением на свет маленькой Ковалевской в доме их сделалось еще безалаберней, и беспорядок увеличился оттого, что мать была убеждена в необходимости каждого уголка в доме только для малютки. Девочку нельзя было купать в той комнате, где она спала, а играть она должна была также в особенной комнате, и дом, состоящий из восьми больших комнат, Ковалевская считала тесным для своей малютки. Везде были разбросаны детские вещи, и когда к Ковалевскому приходил кто-нибудь по делу, он затруднялся, где посетителя принять. Ковалевская была глубоко недовольна всеми лицами, имевшими какое-нибудь отношение к ребенку: все делалось недостаточно аккуратно, точно и добросовестно. Няня и кормилица ходили

вечно с надутыми лицами. Ковалевского очень смущали эти перемены в характере жены, – мягкий и деликатный, он ласково останавливал жену и вступался то за то, то за другое провинившееся лицо. Она очень искренно и мило сознавалась в своих увлечениях, признавала замечания мужа справедливыми; но стоило няне поцеловать ребенка, она теряла терпение и не могла примириться с тем, что ее дорогую девочку, эту «мамину радость», целует противная женщина, у которой может быть чахотка, и т. д. Любовь ее к дочери доходила до того, что она с радостью говорила: «Слава Богу, я не совсем истощила свои силы в занятиях математикой! Теперь, по крайней мере, моя девочка унаследует свежие умственные способности». Хорошенькая девочка, с темными тонкими бровями матери и голубыми кроткими глазами отца, невинно смотрела на всю кутерьму, которую она невольно производила в доме.

В первые месяцы существования маленькой Софы дела Ковалевских шли так блестяще, что все называли девочку будущей миллионеркой, но вскоре счастье повернулось к ним спиной: Ковалевский, утомленный многолетней бессодержательной деятельностью, опустил руки, и дела пошли хуже.

В 1878 году открылись Высшие женские курсы, в учреждении которых Ковалевская вместе с другими получившими высшее образование за границей принимала горячее участие. На первом же собрании она была выбрана в число членов комитета. К общему удивлению, ее, однако, не пригласили читать лекции на курсах, в которых тогда видели прототип женского университета. Еще за год до того она заявляла желание читать на курсах бесплатно. Ее несправедливо обошли в этом отношении, она была огорчена и с грустью говорила, что если бы ей предложили занятия на курсах, то это тотчас вывело бы ее из круга житейских интересов, которыми она начинала тяготиться. «Стоит только коснуться мне математики, – говорила она, – я опять забуду все на свете». Обязанности членов комитета курсов были чисто хозяйственными. Несмотря на это, Ковалевская отдалась им со своим обычным жаром. Ковалевский, со своей стороны, тотчас пожертвовал библиотеке курсов по несколько экземпляров всех изданий своих работ. И муж, и жена, несмотря на сложные и затруднительные собственные дела, часто вели длинные разговоры о делах курсов, даже собирались строить для них дом на Васильевском острове. По мнению Ковалевского, этой местности Петербурга надлежало сделаться «Quartier des écoles». Замечательно, что желание Ковалевских отчасти сбылось: курсы обрели собственный дом на Васильевском острове.

1879 год был особенно несчастлив для Ковалевских: они окончательно

разорились. Ковалевская хорошо знала их общие дела и ясно видела неминуемую гибель. Но ему так тяжело было в этом сознаться, что он закрывал глаза и старался представить ей положение дел в лучшем виде. Это ее раздражало, и между супругами стали возникать несогласия. «Как можно закрывать глаза перед истиной! – говорила жена. – На днях мы потеряем всё, но может быть, это и к лучшему. Мы оба примемся за свое дело». За эти долгие годы бездействия она отдохнула, поправила здоровье, несколько возмужала; теперь она чувствовала себя как нельзя более способной приняться за прежний труд. Неудачи не угнетали ее, а возбуждали, – она совершенно воспрянула духом. Ковалевский же, напротив, пришел в то нервное состояние, которое привело его к душевной болезни, имевшей исходом своим насильственную смерть. Жена его сначала принимала такой упадок духа за слабость характера и высказывала ему упреки. Сама же она, как говорят, не дремала и, теряя «внешние» блага, вспомнила о «внутренних». В начале 1880 года был съезд естествоиспытателей, на котором она присутствовала по настоянию Чебышева, всегда принимавшего горячее участие в ее судьбе; по его же настоянию она решилась прочитать на съезде одну из своих залежавшихся работ. Долго пришлось ей искать заветный ящик, где хранились ее математические рукописи и книги. Нужно сказать правду, что, прежде чем добраться до них, много надо было снять пыли. На чердаке они успели отсыреть, но мысли, в них заключавшиеся, отличались новизной и свежестью и никем еще не были высказаны. С чувством радости и гордости Ковалевская за одну ночь перевела свою статью об Абелевских функциях на русский язык. Во время этой работы, в ночной тиши, перед нею вставал дорогой образ ее учителя – Вейерштрасса, и в ней оживал интерес к науке, а утром она прочла реферат на съезде, «произвела общее впечатление», заслужила одобрение Чебышева и снова стала считать себя «научным деятелем». Через несколько недель она равнодушно смотрела на то, как продавалось с публичного торга ее последнее имущество, и говорила, что скоро совсем забудет, что была когда-то счастливой обладательницей каменных домов.

Потеряв все, Ковалевские с ребенком отправились искать счастья в Москву. Ковалевский не мог поднять глаз на жену и ребенка, – он думал обеспечить им все земные блага, а оставил в конце концов безо всего. Она же смело смотрела вперед, в сердце ее начиналась борьба... Вдохновение так же свойственно ученым, как и поэтам; теперь, когда *божественный глагол коснулся ее слуха*, она испытывала то состояние, которое Пушкин так превосходно описал в своем стихотворении «Поэт». Ее неудержимо тянуло

к науке, а привязанность, привычка к мужу и новое живое чувство к своему ребенку связывали ей руки. Она ничему не умела отдаваться наполовину. Впоследствии она всегда с сожалением вспоминала об этих годах петербургской жизни и говорила: «Моя дочь – это единственное хорошее, что принесли мне эти годы».

Говоря о разорении Ковалевских, учитель ее Малевич справедливо замечает: «Но у нее осталось богатство прочное, никем и ничем неотъемлемое, о котором она лишь временно забыла, но, обладая которым, могла применить к себе слова жившего в древние времена философа Симонида: *omnia mea tecum porto*, дословно: „все свое с собою ношу“.»

Все, знавшие Ковалевскую, искренно радовались, что она снова взялась за математику, и сестра ее с восторгом говорила: «Софа сделалась совсем прежнею».

Последующие труды Ковалевской несомненно доказали, что шестилетний перерыв в занятиях математикой ни в каком отношении ей не повредил. То же явление встречаем мы в жизни многих ученых: гениальный математик Лагранж, сильно устав от занятий математикой, также одно время занимался химией.

## Глава VI

*В Москве. – Различие в настроении мужа и жены. – Стремления обоих к изобретениям и жизнь в чужом доме. – Получение Ковалевским места в компании для развития нефтяного дела. – Изменения в характере Ковалевского, первые признаки душевной болезни. – Недоразумение между Ковалевскими. – Первая надежда Ковалевской получить профессию. – Отъезд за границу. – Возобновление чисто научных занятий. – Смерть мужа и лишение средств к существованию. – Первый приезд Ковалевской в Стокгольм.*

В Москве Ковалевская с мужем поселилась в семействе той подруги, с которой она была неразлучна в Гейдельберге и в Берлине. Положение их тогда было самое незавидное. События их жизни совершались в то время с такой быстротой, что им пришлось, так сказать, нагрянуть в дом подруги, даже не предупредив ее заранее. Подруга эта жила в своем доме, но в небольшой квартире, вместе со своей сестрой, с которой Ковалевские были мало знакомы, между тем эта сестра заведовала хозяйством, и именно ей-то они доставили так много хлопот. На Ковалевского все это действовало удручающим образом, – он был тише воды, ниже травы. Ковалевская, как мы говорили, была, напротив, сильно возбуждена и искала исхода. Чисто теоретические занятия, которым она с такой страстью отдавалась прежде, не привлекали ее в это беспокойное время их жизни; между тем она чувствовала, что все ее спасение – в умственном труде. В последний год Ковалевские познакомились в Петербурге с одним талантливym молодым человеком, который с большим жаром занимался вопросом об электрическом освещении. И муж, и жена восторгались его идеями и, несмотря на свои стесненные денежные обстоятельства, давали ему, пока были в состоянии, пятьдесят рублей в месяц. Присутствуя на производимых им опытах, Ковалевская, однако же, была большею частью недовольна недостаточной тщательностью работы и говорила: «Как жаль, у него такая прекрасная идея». Саму же идею все трое держали в тайне, но можно было догадаться, что она относилась к распределению света. Применение этой идеи к практике занимало Ковалевскую и в Москве. Ей необходимо было отвлечься от унылой действительности, и она надеялась, что изобретение в области электротехники может поправить их расстроенные дела. Мысль об изобретении воспламенила также упавшего духом Ковалевского и увлекла подругу Ковалевской, тоже потерявшую в

«предприятия» Ковалевских несколько тысяч, принадлежавших ей вместе с сестрою. Все трое справедливо чувствовали себя людьми знающими, талантливыми; отчего бы, в самом деле, не изобрести им что-либо, когда изобретают другие. В патриархальном, старинном московском доме закипела современная жизнь. Ковалевский, Ковалевская и ее подруга работали каждый над своим аппаратом, и за завтраком, за обедом, за бесконечным чаем с разными смоквами и печеньями поверяли они друг другу свои надежды. Сестра подруги, веселая, миловидная и несколько насмешливая, представляла собой консервативный лагерь: угощая с истинно русским хлебосольством своих незваных гостей, она добродушно подсмеивалась над ними и, не вмешиваясь в ученые разговоры, играла с маленькой дочкой Ковалевских. Девочка едва начинала говорить, но, подражая взрослым – отцу, матери и крестной маме, – брала кусочек бумажки и карандаш, проводила каракули и говорила: «*аппалят*», – видно, часто приходилось ей слышать это слово.

Весною Ковалевская с дочерью и с бонной переехала в подмосковное имение своей подруги и там продолжала заниматься устройством новой электрической лампы. Ковалевский же съездил к брату в Одессу и поселился снова в Москве, подыскивая себе какое-нибудь подходящее занятие. Здесь ему опять улыбнулось счастье: он познакомился с одним очень умным и ловким человеком, стоявшим во главе только что начавшегося развиваться нефтяного дела в России. *Ловкий* человек был поражен сметливостью талантливого естествоиспытателя и предложил ему принять участие в деле новой компании. Ковалевский сразу получил место со значительным вознаграждением. Осенью они наняли себе истинно барскую квартиру, обзавелись дорогой массивной мебелью и зажили в Москве на славу; оба они вновь были счастливы, но недолго. Ковалевского тяготила роль практического деятеля: он с грустью поглядывал на свои геологические и палеонтологические коллекции, и его тянуло к профессуре. Вскоре Ковалевские познакомились со многими профессорами Московского университета, и у Ковалевского появилась надежда пристроиться в университете.

«В сердце его совершалась борьба...» С одной стороны, ему так хотелось, чтобы его жена и дочь жили в полном довольстве, с другой – чувствовал неотразимое влечение к науке. Борьба была так велика, что совершенно поглощала его силы; они же и без того были подорваны его петербургской деятельностью, о которой мы говорили. В нем стали появляться странности – первые признаки душевного расстройства. Он сделался удивительно скрытным и неискренним. Жена, конечно, первая



заметила эту перемену, но относилась к тому, что он переменялся к *ней*. Это ее очень огорчало и отталкивало от мужа. Часто во время его отсутствия она ходила в волнении по своим красиво убранным комнатам, не находя в доме ничего для себя милого, и думала: «Как быть?» В ней возникало чувство негодования. Она употребила все усилия привязаться к мужу и действительно привязалась и была ему верной женой; и теперь, больше чем когда-нибудь, она имела на него право: у них был ребенок...



### **Софья Ковалевская и Шарлотта-Анна Леффлер.**

Через несколько лет после смерти мужа Ковалевская высказала то, что перечувствовала в то время, в своей драме «Борьба за счастье», написанной совместно со шведской писательницей Леффлер. В этом сочинении она, между прочим, изобразила мужа с женой, которые не имеют ни малейшего влечения друг к другу, но употребляют все усилия полюбить друг друга, и дело оканчивается тем, что в трудные минуты жизни жена не понимает мужа и оказывается бессильной его поддержать. Заметим, что это напоминает басню Крылова о цветах живых и цветах искусственных во время непогоды. Живые цветы после дождя становятся свежее, а искусственные – погибают. Привязанность Ковалевской к мужу

не выдержала *непогоды* единственно оттого, что ей не доставало чутья любящего сердца. И муж, несмотря на свое благоговение перед женою, очень часто обходился с ней как с чужой, скрывая от нее свои неудачи. Это ее сильно раздражало. Зима в Москве 1880/81 года принесла ей мало радостей. Материальное благоденствие Ковалевских продолжалось недолго: Ковалевский, отличавшийся всегда таким мирным, уживчивым характером, не поладил с заправилами нефтяного дела и принужден был оставить свое место; вскоре он сделался доцентом Московского университета. Ковалевская также серьезно подумывала о кафедре.



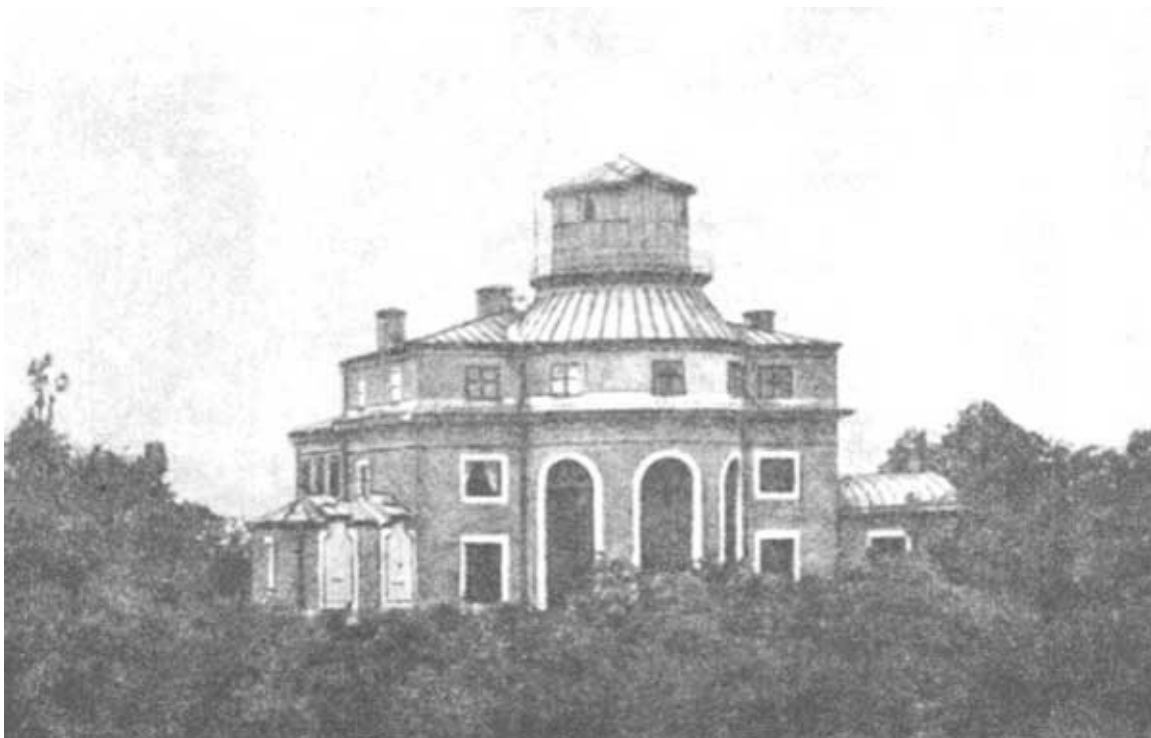
### **Гёста Миттаг-Леффлер.**

Уже в 1876 году она познакомилась с гельсингфорским профессором Миттаг-Леффлером, бывшим учеником Вейерштрасса. Он посетил ее вновь в 1880 году в Петербурге, во время съезда естествоиспытателей, и зажег в ней смелые надежды на будущее. Это было только началом тех важных услуг, которые этот замечательный математик и энергичный человек оказал Ковалевской.

Из биографии Леффлер-Эдгрен – сестры Миттаг-Леффлера – мы узнаем, что он и в молодости с большим сочувствием и очень серьезно

относился к женскому образованию. Автор этой биографии Эллен Кей говорит: «Оба старших брата, математик Миттаг-Леффлер, родившийся в 1846 году, и Франц Леффлер, родившийся в 1847 году, оказали громадное влияние на ее литературное развитие. Они постоянно твердили ей о том, как мало знаний дала ей школа, и настаивали на необходимости самообразования, заставляя ее заниматься шведским языком, историей, литературой и развивая в ней любовь к этим занятиям. Постоянно критикуя ее произведения, они всеми силами убеждали ее не выпускать их в свет, пока они не получат более зрелого, законченного вида, боясь, чтобы сестра не увлекалась дилетантизмом, в который так часто впадают женщины-писательницы».

Понятно, что при таком глубоко серьезном отношении к женскому образованию Миттаг-Леффлер не мог не остановить своего внимания на Ковалевской. И с первой минуты их знакомства он страстно желал открыть ей возможность преподавать в университете. Он даже попытался добиться для нее доцентуры в Гельсингфорсском университете, но безуспешно.



**Обсерватория в Стокгольме.**

В 1881 году основался новый университет в Стокгольме, и Миттаг-Леффлер принимал в этом деле самое горячее участие. Из Гельсингфорса

он сообщил об этом Ковалевской и высказал твердое намерение добиться для нее кафедры в новом университете. Можно себе представить, какое впечатление произвело это на Ковалевскую в то время, когда она чувствовала, что в жизни ее должен произойти переворот. Желание работать по-прежнему оживило в ней с новой силой; наскоро собравшись, она взяла с собой дочь и уехала из Москвы в Берлин. Ковалевский, проводив жену, тотчас отправился к брату в Одессу, поручив своим добрым знакомым отдать на склад мебель и сдать квартиру.

Этим добрым знакомым такое поручение доставило немало хлопот: в квартире ничего не было уложено, ничего не заперто. В столовой на столе стояли самовар и чашки с недопитым чаем – и похоже было, что хозяева квартиры вышли на минуту и готовы вернуться. Между тем совместная жизнь Ковалевских была кончена. Но это была только размолвка, а не разрыв. Ковалевская поселилась с дочерью в Берлине, поблизости от своего старого друга и учителя Вейерштрасса. Теплая дружба этого великого математика и его глубокая вера в умственные силы своей ученицы окрыляли ее, – она вспомнила старое и засела за работу, имевшую чисто теоретический характер.

В первое время, впрочем, она не могла еще совершенно отвлечься от своих изобретений по электричеству: нам известно, что несколько раз она была у Сименса, сообщала ему свои идеи, но вскоре чисто теоретические занятия взяли перевес; она совершенно ушла в свои работы, виделась только с Вейерштрассом и усердно изучала мемуары Ляме о преломлении света в кристаллах. Для того чтобы дать понятие о ее жизни и настроении в то время, приведем вкратце ее собственное письмо из Берлина от 8 июля 1881 года к Миттаг-Леффлеру:

«Приношу вам живейшую благодарность за все ваши хлопоты о моем назначении в Стокгольмский университет. Что касается меня, я всегда с радостью приму место доцента университета. Я никогда и не рассчитывала ни на какое другое положение и, признаюсь вам в этом откровенно, буду чувствовать себя менее смущенной, занимая скромное место; я стремлюсь применить свои познания и преподавать в высшем учебном заведении, чтобы навсегда открыть женщинам доступ в университет; теперь, как бы то ни было, этот доступ есть исключение или особая милость, которой всегда можно лишить, что и произошло в большинстве германских университетов. Хотя я и не богата, но располагаю средствами для того, чтобы жить

вполне независимо; поэтому вопрос о жалованье не может оказать никакого влияния на мое решение. Я желаю главным образом одного – служить всеми силами дорогому мне делу и в то же время доставить себе возможность работать в среде лиц, занимающихся тем же делом, – это счастье никогда не выпадало мне на долю в России; я пользовалась им только в Берлине. Все это – мои личные желания и чувства. Но я считаю себя обязанной сообщить вам также следующее. Профессор Вейерштрасс, основываясь на существующем в Швеции положении дел, считает невозможным, чтобы Стокгольмский университет согласился принять женщину в число своих профессоров и, что еще важнее, он боится, чтобы вы не повредили сильно сами себе, настаивая на этом нововведении. Было бы слишком эгоистично с моей стороны не сообщить вам этих опасений нашего уважаемого учителя, и вы, конечно, поймете, что я пришла бы в отчаяние, если бы узнала, что вы за меня заплатились какой-нибудь неприятностью.

Я полагаю поэтому, что теперь, быть может, было бы неблагоприятно и несвоевременно начинать хлопотать о моем назначении: лучше подождать до окончания начатых мною работ. Если мне удастся выполнить их так хорошо, как я рассчитываю, то они послужат к достижению намеченной цели».

Итак, мы видим, что Миттаг-Леффлер неусыпно хлопотал о назначении Ковалевской еще в 1881 году, но эти хлопоты увенчались полным успехом только через два года. В то же время в жизни Ковалевской совершилось много событий. Она жила в эти годы то в Берлине, то в Париже, приезжала и в Россию, путешествовала с мужем и с маленькой дочерью по Европе. Свидания с мужем нисколько не служили, однако, к примирению супругов и к их сближению, – напротив, Ковалевская замечала перемену в отношениях мужа, и он все более и более казался ей человеком чужим и странным. Она приписывала эти странности различным несуществующим причинам. Научные занятия Ковалевского подвигались вперед медленно. Когда открылась возможность предаться науке, его потянуло к спекуляциям, и это влечение скоро приняло характер настоящей мании. Средства Ковалевских были в то время невелики: и муж, и жена проживали свои последние крохи; она жила в Париже в тесной квартирке, по-студенчески, а он помещался в Москве, в меблированной комнате, роскошная же мебель стояла на складе. Вскоре Ковалевской пришлось

расстаться со своей маленькой дочерью и отправить ее к дяде в Одессу. Сначала Ковалевская жила в Париже, в стороне от ученого мира. И это уединение продолжалось до приезда в Париж ее доброго гения – профессора Миттаг-Леффлера. Он с трудом отыскал Ковалевскую в Париже и познакомил ее со всеми известными французскими математиками, которые с большой охотой начали посещать ее маленькую гостиную.

Математик Гермит в то время писал в Берлин Вейерштрассу, что был поражен обширностью познаний и глубиной ее ума. Справедливость требует сказать, что Ковалевская вращалась не исключительно в обществе французских ученых, а вела так же охотно знакомство с соотечественниками, проживавшими в Париже. Она чувствовала себя всегда одинокой, когда возле нее не было русских. В то время она, переживая столь многое, искала дружбы родной души, поэтому не без интереса сближалась с людьми, казавшимися ей симпатичными с первого взгляда. К этому времени относятся некоторые, чисто платонические, ее романы. Она была сердита на мужа, хотела забыть его и начать новую жизнь, но еще не могла, потому что привязанность к нему продолжала существовать. Она часто писала в Россию и очень огорчалась, что мужа ее все начинали считать аферистом; советовала ему подумать, наконец, о своей репутации... Но голова его в то время работала плохо, и душевная болезнь развивалась с большой быстротою; Ковалевский не находил более удовлетворения в своих научных занятиях, и когда на него нападала тоска, он отправлялся в Одессу к брату, чтобы взглянуть на свою маленькую дочь, которая, по его словам, была вылитая мать во всех отношениях. Ковалевский нисколько не сердился на жену за то, что она охладела к нему и относилась, так сказать, свысока; как видно, он считал ее вправе так поступать с ним, и это сознание угнетало его еще более. Весной 1883 года он лишил себя жизни. В своих воспоминаниях о Ковалевской Леффлер-Эдгрэн говорит, что муж ее пал жертвой денежной спекуляции. Это не совсем верно. Он лишил себя жизни вследствие душевной болезни, а страсть к спекуляциям была одним из ее проявлений.

Когда Ковалевская узнала о кончине мужа, она сразу поняла причину всех его, прежде необъяснимых, странностей, жестоко упрекала себя, что не заметила этой болезни раньше и бранила его за малодушие тогда, когда нужно было ухаживать за ним как за больным.

Со смертью мужа материальное положение Ковалевской сделалось еще безнадежнее. К счастью, работа ее «О преломлении света в кристаллах» была почти готова. Вскоре после смерти мужа она оставила

Париж и приехала в Берлин, чтобы представить свой труд на суд Вейерштрасса. Письма Ковалевской, относившиеся к этому времени, носят грустный, почти мрачный характер. Летом 1883 года она писала своей подруге в Москву, что Вейерштрасс доволен результатами ее работ и теперь нисколько не сомневается в том, что она получит профессию в Стокгольмском университете. Все это Ковалевская сообщала как-то сухо, без малейшей радости. Она писала также, что желала бы поехать на съезд естествоиспытателей в Одессу в августе, но не знает, вышлет ли ей вовремя деньги книгопродавец, купивший издания Ковалевского. Видевшие ее в то время друзья и знакомые замечали также большую перемену в ее наружности. Она вдруг состарилась на несколько лет, ее кожа потеряла свою чистоту и прозрачность, а между бровями показалась глубокая морщина, которая так и осталась навсегда. В начале августа Ковалевская из Берлина проехала прямо в Одессу; письма из Одессы к той же подруге носили тот же характер. В них она главным образом описывала свою дочь: пятилетняя девочка уже умела читать и рассказывать прочитанное; она выглядела ребенком сосредоточенным, но грустным. У матери появлялась мысль, что девочка смутно чувствует несчастье, случившееся с отцом.

О съезде говорилось в этих письмах немного. Ковалевская не написала даже о том, что она читала реферат своей новой работы, и это ее подруга узнала только из газет. По окончании съезда Ковалевская вместе с дочерью приехала в Москву, сообщила своим друзьям и знакомым, что отправляется в Стокгольм, куда приглашена в университет читать лекции по математике на немецком языке. Эта весть принята была с общим энтузиазмом и вскоре появилась в газетах. Из Одессы же Миттаг-Леффлер получил от Ковалевской следующее письмо от 28 августа.

«Мне наконец удалось окончить одну из двух работ, которыми я занималась в последние два года. Как только я достигла удовлетворительных результатов, первую моею мыслью было переслать мой труд немедленно вам для оценки, но профессор Вейерштрасс, с обычной ему добротой, принял на себя труд уведомить вас о результатах моих исследований. Я получила письмо, где он сообщает мне, что уже написал вам об этом и вы ему ответили и просили торопить меня поскорее отправляться в Стокгольм, чтобы начать чтение приватного курса. Я не нахожу выражений, чтобы достаточно сильно высказать, как я благодарна вам за вашу всегдашнюю доброту ко мне и как счастлива, получив возможность вступить на ту дорогу, которая

всегда составляла мою излюбленную мечту. В то же время я не считаю себя вправе скрывать от вас, что я во многих отношениях признаю себя весьма малоподготовленную для исполнения обязанностей доцента. Я до такой степени сомневаюсь в самой себе, что боюсь, как бы вы, всегда относившийся ко мне с такою благосклонностью, не разочаровались, увидя, что я мало гожусь для избранной мною деятельности. Я глубоко благодарна Стокгольмскому университету за то, что он так любезно открыл передо мною свои двери, и готова всей душою полюбить Стокгольм и Швецию, как родную страну. Я надеюсь долгие годы прожить в Швеции и найти в ней новую родину. Но именно поэтому мне не хотелось бы приезжать к вам, пока я не буду считать себя вполне заслуживающей хорошего мнения, которое вы обо мне составили. Я сегодня написала Вейерштрассу, спрашивая его, не найдет ли он с моей стороны благоразумнее провести еще два-три месяца с ним, чтобы лучше проникнуться его идеями и пополнить некоторые пробелы в моих математических познаниях.

Эти два месяца, проведенные в Берлине, были бы в высшей степени полезны мне и в том отношении, что я имела бы случай видаться с молодыми математиками».

Далее она пишет, что попытается прочитать реферат в кругу молодых математиков, чтобы испытать себя как лектора. Будущее вполне доказало, как неосновательно было недоверие Ковалевской к своим собственным силам.

Мы привели это письмо почти целиком, потому что такое отношение к себе объясняет многое в ее деятельности; оно свойственно исключительно женщине, пролагающей совершенно новый путь. Предубеждение против способности женщины к умственному труду, как всякие предрассудки, с которыми нам приходится бороться, живут не только в окружающих нас, но и в нас самих. То же смущение чувствовала бы всякая талантливая женщина, но ни одному самому посредственному мужчине не пришло бы в голову, что он недостаточно подготовлен к исполнению обязанностей доцента. Эта привычка смотреть на себя исключительно как на ученицу Вейерштрасса вводила многих в заблуждение и заставляла сильно преувеличивать умственную зависимость Ковалевской от ее учителя.

Вероятно, Вейерштрасс нашел излишним для нее дальнейшее пребывание в Берлине, потому что, как нам известно, приведя в порядок



свои дела в России, Ковалевская отправилась прямо в Стокгольм на пароходе из Финляндии.

Предстоящая перемена жизни и открывшийся широкий горизонт в значительной степени отвлекали Ковалевскую от грустных мыслей о смерти мужа, но в Петербурге, где она была проездом, все напоминало ей о нем, так как здесь они большей частью были неразлучны. Ее манила широкая неизвестная даль, но в то же время она чувствовала себя такой одинокой, когда пароход отчалил от берега так хорошо знакомого ей Васильевского острова. В ноябре один вид моря погружает многих в меланхолию. Когда пройдешь кронштадтские батареи и вступишь в открытое пространство, ничто уже не напоминает, что плывешь под русским флагом в русских водах – все надписи сделаны на чуждом нам языке...

После сорокапятичасового плавания, утомленная, простуженная, она, наконец, увидела Стокгольм, и вот какая картина должна была представиться тогда ее глазам.

По словам одного путешественника, в продолжение трехчасового плавания по Балтийскому фиорду перед глазами является множество довольно однообразных островов, покрытых преимущественно еловым лесом; самый цвет сероватой воды, при резкости северного климата и освещения, придающего всей этой картине какой-то холодноватый колорит, не оживляет путешественника, а скорее погружает его в какое-то меланхолическое настроение. Вот, наконец, показался Стокгольм со своими остроконечными готическими башнями церквей и с возвышающимся в виде квадратной каменной глыбы королевским дворцом. Вид с моря на город красив. Но Ковалевской, вероятно, было не время любоваться красотой Стокгольма: она думала, как-то сойдет с рук ее первая лекция. Она приехала в Стокгольм 11 ноября и остановилась по приглашению Миттаг-Леффлера у него. На другой день после своего приезда она познакомилась с госпожой Леффлер-Эдгрэн, которая описывает следующим образом свое первое свидание с Ковалевской:

«Мы обе были подготовлены к тому, чтобы сделаться друзьями. Когда я вошла, Софья стояла в библиотеке у окна и перелистывала какую-то книгу; заметив меня, она быстро обернулась и пошла ко мне навстречу с протянутой рукой. Меня поразила при этом необыкновенный блеск ее глаз. Но в ее обращении заметны были робость и смущение, какая-то сдержанность. Она мне сказала, что простудилась дорогой и

страдает сильной зубной болью. Я предложила проводить ее к зубному врачу. Какая приятная цель для первой прогулки в новом городе!»

Наблюдательной писательнице бросилось в глаза смущение Ковалевской; оно обуславливалось, во-первых, ее грустным настроением в то время, а во-вторых – сознанием важной обязанности, которую ей надлежало исполнить в Стокгольме.

## Глава VII

*Несколько слов о шведской жизни и ее особенностях. – Отношение Ковалевской к прогрессивной партии «Молодая Швеция». – Чтение частного курса в университете. – Назначение Ковалевской профессором и образ ее жизни в 1884—1885 гг.*

Швеции как стране, предоставившей Ковалевской возможность приложить свои знания и силы, должно принадлежать видное место в ее биографии. Эта соседняя страна известна нам несравненно меньше других западных государств; в настоящее время, однако, она возбуждает все больший и больший интерес.

Исключительное положение Ковалевской обуславливалось не одной ее талантливостью, но также некоторыми особенностями приютившего ее университета, которые в свою очередь служат выражением особенностей этой страны. Университет этот создан на частные средства, а потому располагает большей свободой, чем все шведские правительственные учреждения. Стокгольмский университет владеет теперь капиталом в несколько миллионов рублей и значительным участком земли, и все это составилось из частных пожертвований жителей Стокгольма, общее число которых не превосходит 200 тысяч. Зажиточных людей в Стокгольме довольно много, но богачей в настоящем смысле слова совсем нет. Каждому, пожертвовавшему на основание университета значительную сумму, она была нелишней. Ковалевская справедливо говорит, что та щедрость, с которой богатые шведы готовы жертвовать на общественные нужды, свидетельствует очень ясно, что интерес к общественным делам развит здесь сильнее, чем в других странах. При этом необходимо заметить, что университет создан стараниями одной прогрессивной партии, так называемой «Молодой Швеции», с целью освободить науку от рутины старых университетов Лунда и Упсалы. Эта же партия сильно поддерживает «женский вопрос». Последовательность и стойкость прогрессивной партии неминуемо должна была весьма приятно поразить Ковалевскую, и через год после своего приезда в Швецию она писала:

«Здесь, в Стокгольме, чувствуешь действительно, что в жизни существует известная связь между убеждением и делом. Вообще говоря, уверить в чем-нибудь шведа дело нелегкое, но раз это удалось, он на полдороги не останавливается и тотчас, как

само собою понятное последствие, прилагает свое убеждение к практике, облекает его в вещественную форму».

В политическом и социальном отношении Швеция, бесспорно, принадлежит к числу наиболее свободных государств Европы. Отсутствие внешних гнетущих влияний в истории Швеции поражает всякого. Швеция никогда не была под чужим гнетом, в ней никогда не существовало крепостного права. Даже религиозные гонения никогда не имели в этой стране характера жесткости.

Наблюдая отрадные стороны шведской жизни, Ковалевская искала причину этого явления и находила ее в том, что погоня за наживой и борьба из-за насущного хлеба не приобрели еще в Швеции того острого, всепоглощающего характера, какой они имеют во всей остальной Европе. Внешние формы жизни там еще сравнительно скромны, семьи даже с большим состоянием ведут очень простой образ жизни: нет той постоянной выставки роскоши, того вечного соблазна и искушения, как в Париже, Лондоне и Берлине. Так называемые вопросы «идеальные» – вопросы о нравственной правде и ответственности – сохраняют в глазах шведов реальное, жизненное значение.

Один из героев драмы Ибсена «Дикий селезень» говорит также, что потребность создать себе раз и навсегда идеал и затем всю жизнь поклоняться ему – это национальная болезнь всех шведов.

При первом своем появлении в Стокгольме Ковалевская сделалась «яблоком раздора» двух партий: прогрессивной и консервативной. Она приехала в Стокгольм, как нам известно, по приглашению Миттаг-Леффлера, одного из самых влиятельных вожakov прогрессивной партии. Ее встретили горячие поклонники и враги. Вскоре же по приезде она начала брать уроки шведского языка, и первые недели ничего другого не делала, как только с утра до вечера упражнялась в шведском языке. Миттаг-Леффлер собирался устроить вечер, чтобы познакомить Ковалевскую с другими стокгольмскими учеными. Она просила его подождать недельки две, пока не выучится говорить по-шведски.

Действительно, через две недели, к общему удивлению, она выучилась объясняться по-шведски, а через два месяца читала уже беллетристические произведения на этом языке.

Первые лекции Ковалевская, однако же, читала по-немецки, студенты устраивали ей овации и подносили букеты цветов. Из стокгольмских писем Ковалевской можно было заключить, что жизнь текла там шумно, и немцы недаром называют шведов северными французами. Ужины, обеды, вечера

следовали так быстро, что ей нелегко было поспевать везде и в то же время готовиться к лекциям и продолжать научные труды. В апреле 1884 года Ковалевская закончила свой курс в Стокгольмском университете и уехала отдыхать в Россию. Лекции ее были настолько удачны, что принесли ей блестящую репутацию. Воспользовавшись этой славой, Миттаг-Леффлер нашел возможным обеспечить Ковалевскую средствами на пять лет настолько, чтобы она могла жить в Стокгольме так, как это приличествует профессору. Несколько лиц приняли на себя обязательства выплачивать ей по пятьсот крон в продолжение пяти лет – таким образом для нее составилось жалование в четыре тысячи крон (2222 руб.). Собственные денежные дела Ковалевской были в то время настолько плохи, что она не могла, как думала раньше, работать бесплатно. Несмотря на такое содействие прогрессивной партии, будущность Ковалевской в Стокгольме не была еще вполне выяснена. Необходимо было, чтобы университет официально принял Ковалевскую в число своих профессоров, – этому же противились многие из них, и среди преподавателей университета по поводу назначения Ковалевской произошла настоящая битва. Наконец 1 июля 1884 года Миттаг-Леффлер телеграфировал Ковалевской о присвоении ей звания профессора Стокгольмского университета. Ковалевская в то время находилась в Берлине.

Из письма ее к Миттаг-Леффлеру видно, что она приписывала эту победу энергии своего покровителя. Мысль о надлежащем выполнении своих обязанностей занимала ее очень сильно. В ней по-прежнему незаметно было ни малейшего самомнения: она стремилась посещать лекции в Берлинском университете во время летнего семестра. Вейерштрасс говорил по этому поводу с некоторыми лицами из министерства, но позволение главным образом зависело от ректора, который не желал допускать женщин в университет. Многих поражает это желание профессора сесть за школьную скамью, но оно непонятно только незнакомым с жизнью немецких ученых. В Германии не редкость, что один профессор посещает лекции другого, желая глубже изучить его воззрения на какой-нибудь предмет. Печатать же лекции не принято, пока профессор продолжает еще читать свой курс.

В Стокгольме со времени основания университета начал издаваться математический журнал «Acta Mathematica»; в нем Ковалевская напечатала свою работу об Абелевских функциях, об участии которой мы уже упомянули. Желание ее посещать лекции Берлинского университета было весьма упорным, она все еще питала надежду, что это сбудется зимою: в рождественские каникулы она опять собиралась поехать в Берлин. Но

двери Берлинского университета остались навсегда закрытыми для Ковалевской. Уже после ее смерти одной американке удалось было проникнуть в это святилище по особому разрешению ректора, но оно было у нее вскоре же отнято по распоряжению высшего начальства. Из приведенного нами факта ясно, что «женский вопрос» в Германии стоит совершенно иначе, чем в Швеции; между тем перевес женского населения и в том, и в другом государстве принуждает дать женщинам возможность существовать самостоятельно. Но в Германии предоставляют женщине только такой труд, который не дает достаточных выгод для мужчины. В Швеции же, напротив, стремятся поднять в женщине веру в свои силы. Эта разница в отношении к «женскому вопросу» обуславливается тем, что в Швеции конкуренция невелика, тогда как в Германии она приняла огромные размеры. После всего этого нетрудно понять, каким кладом была Ковалевская для прогрессивной партии в Швеции, – эта партия берегла репутацию Ковалевской как зеницу ока, и поэтому ее члены часто позволяли себе вмешиваться в частные дела Ковалевской.

Первую зиму в Стокгольме Ковалевская прожила по-студенчески – в пансионе – и не намеревалась обзаводиться своим хозяйством и на следующий год. Вследствие этого ей невозможно было взять свою маленькую дочь, которая жила в Москве у своей крестной матери. Стокгольмские дамы, как видно, осуждали ее за разлуку с дочерью, и доброжелатели горячо убеждали ее привезти с собою в Стокгольм и малютку. Ковалевская говорила, что согласна подчинить себя требованиям стокгольмских дам в мелочах, но не в серьезных вопросах; она находила, что девочке лучше прожить еще год в Москве, чем в Стокгольме, где для нее ничего не устроено и у самой матери нет времени как следует заняться ею. Действительно, осенью 1884 года, тотчас по приезде в Швецию, она на несколько недель поселилась в уединенном месте в окрестностях Стокгольма и занялась изложением своей работы «О преломлении света в кристаллах». В это время она виделась только с Миттаг-Леффлером и одним молодым немецким математиком, который оказал ей некоторую помощь в изложении этого труда на немецком языке.

В каких-нибудь полтора года после смерти мужа в жизни Ковалевской произошло много важных событий, она зажила новой жизнью, и ей казалось, как она сама писала Миттаг-Леффлеру, что прошло целое столетие. Немудрено, что при таких условиях скорее, чем при всяких других, зажила немного ее глубокая рана и несколько успокоилась совесть. Она расцвела в полном смысле этого слова, помолодела и похорошела, сняла свое черное платье, которое к ней ужасно не шло, стала носить

светлые цвета – к ним она всегда питала большое пристрастие – и начала вообще «причесываться к лицу» и обращать внимание на свою наружность. Это у нее всегда служило признаком отдыха и довольства жизнью; грустное выражение лица совершенно исчезло, а вместе с ним прошло смущение, бросавшееся в глаза год тому назад. В эту вторую зиму в Стокгольме Ковалевская, можно сказать, вошла в жизнь окружавшей ее новой среды; лекции свои она уже читала по-шведски и представляла собою центр прогрессивной партии в столице. В это счастливое время своей жизни она была необыкновенно оживлена, остроумна, очаровывала всех и каждого и сама относилась ко всем и ко всему с величайшим интересом.

Ковалевская всегда отличалась физической неловкостью: в России она не умела ни ездить верхом, ни кататься на коньках, но никогда и не жалела об этом. В Швеции, окруженная людьми весьма искусными во всяком виде спорта, она почувствовала сильное желание исправить недостатки своего телесного воспитания. Тотчас после лекций в университете она обыкновенно отправлялась с Миттаг-Леффлером и его сестрою, госпожою Леффлер-Эдгрэн, на каток, а вечером этих неразлучных друзей можно было встретить в манеже. Ковалевская то разговаривала о математике с Миттаг-Леффлером, то пускалась в рассуждения о психологии с его сестрою, но ей не везло ни в верховой езде, ни в катанье на коньках, хотя она и тому, и другому предавалась с большим увлечением и гордилась успехами в этом деле, по словам друзей, больше, чем своими научными заслугами. И это, по-видимому странное, явление легко объяснимо. Мы говорили уже, что Ковалевская страдала излишней трусливостью, нервностью, которую ей, разумеется, во что бы то ни стало хотелось победить. Все это было непонятно шведам, не знавшим всех условий детства Ковалевской и причин развития этого страха, на которые мы указывали. Сесть на лошадь или очутиться на катке было великой победой для Ковалевской, и эта победа приводила ее в восторг.

О своей жизни в Швеции она сама писала в Берлин следующее:

1. Прежде всего я должна была позаботиться о своих трех лекциях в неделю на шведском языке. Я читала алгебраическое введение в теорию Абелевских функций; повсюду в Германии лекции эти считаются самыми трудными. У меня чрезвычайно много слушателей, и все они остаются мне верными, за исключением двух-трех.

2. Я в этот промежуток времени написала небольшой математический трактат, который намереваюсь на днях отправить

к Вейерштрассу с просьбою напечатать в журнале Боргарда.

3. Я пишу с Миттаг-Леффлером большую математическую статью и в то же время занимаюсь журнальной работой. До сих пор напечатана только одна из них: «Из моих личных воспоминаний».

В то же время Ковалевская весело сообщала, что принимает участие во всех празднествах и собирается торговать на одном базаре, устраиваемом стокгольмскими дамами в пользу народного музея. При этом ей удалось оказать услугу своей живой фантазией: она предложила устроить цыганский табор с русским самоваром и т. д.

По всему видно было, что ей, тридцатичетырехлетней женщине, новы были «все впечатленья бытия». До того времени она жила жизнью взрослой женщины только урывками, и большей частью ей приходилось вести студенческий образ жизни в Берлине и в Париже. Да и в России она очень недолго жила в своем доме, принимала гостей, посещала театры. Вскоре дела пошли плохо; Ковалевским пришлось смириться и вести уединенную жизнь. К тому же после рождения дочери Ковалевская проболела всю зиму. Ей всё приходилось кочевать, готовиться к будущей деятельности и как бы ожидать суда и приговора. В Стокгольме она впервые почувствовала почву под ногами, главная цель ее была достигнута, и она могла дать простор всем склонностям своей разнообразной природы и живого темперамента.

Г-жа Эдгрен в своих воспоминаниях о Ковалевской описывает, какое глубокое влияние оказало на нее сближение с этой женщиной и ничего не говорит, конечно из скромности, о том влиянии, какое она сама имела на Ковалевскую, – между тем последнее было настолько велико, что нам придется заняться выдающейся личностью этой известной шведской писательницы. Из юности Ковалевской мы знаем, что она сама также имела склонность к литературе и даже писала стихи. Занятия математикой отвлекли ее от литературы, но все же она много читала и, когда бывала с сестрой, с наслаждением беседовала о прочитанном. Теперь эта склонность от общения с талантливой писательницей пробудилась в ней с такой силой, что чтение и разговоры больше не удовлетворяли ее, и она стала писать сначала вместе с госпожой Эдгрен, а потом – одна.

Шведская писательница и русская женщина-математик представляли две диаметрально противоположные натуры и как бы взаимно дополняли друг друга. Этим и объясняется их взаимное влечение. Шведская писательница Эллен Кей проводит между этими двумя женщинами



следующую параллель: где бы ни появлялась А. К. Леффлер-Эдгрэн, ее наружность обращала на себя общее внимание; но она не была такой блестящей собеседницей в обществе, как Софья Ковалевская. Когда обе подруги бывали где-нибудь на вечере, возле Ковалевской образовывался всегда кружок слушателей, между тем как Эдгрэн, напротив, сама любила играть роль слушательницы в том же кружке. Ее разговор не блистал ни особенной оригинальностью мысли, ни остроумными выходками, не отличался богатством содержания. Она всегда ясно, живо и определенно описывала действительность. Ковалевскую в Стокгольме звали Микеланджело за бурную энергию. Всё *происходило* всегда так, как рассказывала Леффлер, всё *могло происходить* так, как передавала Ковалевская, и тогда всё было бы гораздо интереснее, чем в действительности. Склонность Ковалевской к разного рода психологическим тонкостям находила полное понимание у Эдгрэн, и благодаря ее обществу она откопала в своей внутренней жизни много такого, что было глубоко скрыто в ее душе и на что она прежде не обращала внимания. Г-жа Эдгрэн была замужем, но не любила своего мужа и искала настоящей любви; она часто говорила о том, что это чувство есть единственный якорь спасения, и доказывала это не отвлеченными рассуждениями, а живыми фактами. Она была старше Ковалевской, но не теряла надежды встретить такое чувство. В этих нескончаемых беседах о любви с г-жою Эдгрэн для самой Ковалевской выяснилось, «как она мало жила, как она мало любила».

То, чего Ковалевская добилась в жизни, подруга ее не считала настоящим счастьем, признавая только *счастье сердца*, и это производило известное впечатление на Ковалевскую: она сама начинала менее ценить то, чем обладала, и глубже чувствовать то, чего ей не хватало.

## Глава VIII

*Назначение Ковалевской заместителем профессора механики. – Поездки в Россию к больной сестре и нравственное их взаимовлияние. – Поездка в Париж и первая идея главного труда. – Изменение образа жизни в Стокгольме. – Новое путешествие в Петербург. – Дума о прошлом. – Драма. – «Борьба за счастье». – Смерть сестры. – Потребность совместного труда.*

Весною 1885 года в Стокгольме распространился слух, что Ковалевская будет назначена заместителем профессора механики вместо Гольмгрена, который по болезни не мог отправлять своих обязанностей. Третьего июня того же года Ковалевская уведомляла Миттаг-Леффлера, находившегося в то время в Берлине, что слух этот как нельзя более подтвердился, и секретарь Академии наук Линдгаген сообщил ей, что правление единогласно решило назначить ее заместителем А. Гольмгрена, если профессор и осенью не в состоянии будет читать своих лекций.



**Софья Васильевна Ковалевская. 1885.**

Вскоре же после этого Ковалевская отправилась в Россию: сначала в Петербург, где навестила больную сестру, а потом остальную часть лета провела со своей дочерью в окрестностях Москвы, в имении своей подруги. Вид умирающей сестры, конечно, во всякое время мог тяжело подействовать на Ковалевскую, но теперь, когда она чувствовала себя столь счастливой, ей казалась особенно достойной сожаления неудачно сложившаяся жизнь Анюты. Она все думала, все надеялась, что ее Анюта воспрянет и в конце концов сделается знаменитой писательницей... А тут «о жизни покончен вопрос». Сестра ее ничего не достигла и сверх того была еще полностью одинока: муж ее, получивший амнистию, жил в Париже. В Москве свидание с дочерью оживило Ковалевскую, она писала, что не знает, кто из них двоих больше рад был этому свиданию. Девочке было уже около семи лет, и мать решила увезти ее с собою в Стокгольм.

Усиленная двухлетняя деятельность и много пережитых впечатлений утомили Ковалевскую, и она чувствовала себя еще более усталой, чем в то время, когда жила в Палибине после получения докторской степени. Она искала, как всегда в таком случае, полного отдыха и покоя. Местопребывание Ковалевской как нельзя более соответствовало этому. В обширном, удобном доме ее подруги текла все та же ровная московская жизнь с бесконечными завтраками, обедами, угощениями и т. д. Подруга эта проводила большую часть времени в занятиях сельским хозяйством, в доме царствовала тишина; сама хозяйка и гостившие подруги «в годах» носили глубокий траур по случаю смерти ее младшей сестры. Лето было жаркое, и Ковалевская целые дни сидела в гостинной с работой в руках, как сама говорила, без всякой мысли в голове, читая романы и прихлебывая чай. Так прожила она до осени. Признавая сильное влияние на себя внешней обстановки, она говорила, что в Стокгольме, где на нее смотрят как на передового борца с женской дискриминацией, она считает себя обязанной поддерживать «свой гений», а в подмосковной деревне, где ее представляют гостям под именем Сониной мамы, она преисполнена исключительно женскими добродетелями. Между тем в то время, когда сама Ковалевская так безмятежно проживала в русской деревне, слава ее распространялась по России, Европе и Америке с быстротой молнии, и летом 1885 года трудно было найти мало-мальски грамотного человека, который бы не знал имени Ковалевской – профессора Стокгольмского университета. В иллюстрированных шведских и русских журналах появились ее биографии и портреты.

В первые два года своего пребывания в Стокгольме Ковалевская

видела только светлые стороны своего нового положения; на третий год, как бывает всегда, она начала усматривать и темные. Она была обеспечена на пять лет добровольными пожертвованиями частных людей, – из этих пяти лет прошло уже два года. В оставшиеся три года ей необходимо было создать нечто замечательное, чтобы получить ординарную профессию, обеспечить себя на всю жизнь материально и поддержать свою славу. Она как бы видела перед собой высокую, крутую гору, на которую ей необходимо было подняться. К тому же ей пришлось в первый раз читать курс механики, и эти лекции требовали усиленной подготовки. Сверх того, стокгольмское общество утратило для нее прелесть новизны, и она не принимала в его жизни такого живого участия, как в первые два года. Углубившись в себя, выворачивая по русской привычке свою душу «наизнанку», она многим в своей жизни была недовольна и тяготилась несколько своим одиночеством: дочь свою она снова принуждена была оставить в России. Весною 1886 года, тотчас по окончании лекций, Ковалевская отправилась в Париж. Французские математики приветствовали ее с восторгом, в русских газетах описано было присутствие ее на заседании Парижской Академии наук и внимание, оказанное ей математиком Бертраном и маститым химиком Шевремом. Эта поездка в Париж была в высшей степени плодотворна для нее по своим последствиям. Во время одного разговора с замечательным французским математиком Пуанкаре ей пришла в голову счастливая мысль приложить новые взгляды из теории функций к решению вопроса о движении твердого тела, и настроение ее вследствие этой новой мысли совершенно изменилось: она не чувствовала больше одиночества, увлеченная творчеством. Из Парижа она проехала прямо в Христианию, где застала только окончание съезда естествоиспытателей; затем она с госпожою Эдгрен совершила небольшое путешествие по Швеции и Норвегии, причем обе подруги посетили Высшую народную школу, которую Ковалевская описала потом в статье «Крестьянский университет». Желание заняться обдумыванием новой мысли было так сильно у Ковалевской, что она не выполнила всего плана путешествия и, оставив свою спутницу, одна вернулась в Стокгольм. Г-жа Эдгрен сама знала, как велика власть внезапно охватывающего вдохновения, и потому охотно простила Ковалевской эту «измену»; она говорила, что нередко наблюдала у Ковалевской такие внезапные перемены настроения. Ковалевская же опять поселилась вблизи от Стокгольма, в семействе Миттаг-Леффлера, но вскоре ее вызвали в Петербург по случаю болезни сестры; она тотчас уехала и вернулась из России со своей восьмилетней дочерью. После этого в образе ее жизни в

Стокгольме произошла соответственная перемена: она впервые обзавелась собственной квартирой. Друзья, конечно, помогли ей отыскать и квартиру, и женщину для заведования хозяйством и для присмотра за ребенком. Часть необходимой мебели она приобрела в Стокгольме, остальное выписала из России. Старинная русская мебель обращала внимание шведов своей оригинальностью: она отличалась роскошеством барской обстановки, но была отчасти поломана, и ее дорогая шелковая пунцовая обивка местами порвана. Ковалевская не обращала на это внимания; она занималась убранством своей квартиры, как и своим туалетом, только по временам, когда особенно весело была настроена. Впрочем, она очень восхищалась своей обширной красной гостиной. Вообще же квартира ее, по словам очевидцев, носила какой-то неуютный характер и как будто служила для временного, короткого пребывания.

Не успела Ковалевская привести в порядок свои дела в Стокгольме, как ее вновь вызвали в Россию к больной сестре, жизнь которой теперь висела на волоске, и она уехала в Петербург, оставив дочь на попечение г-жи Эдгрэн. У постели умирающей сестры Ковалевская вновь погрузилась в мысль о том, что дала им обоим жизнь и что она могла бы дать при других условиях. Разве ее Аня не имела права на счастье, да и она сама, прославленная и превознесенная, могла бы быть счастливее, не сделай она ложного шага с фиктивным браком. Эта мысль, при склонности Ковалевской к обобщению и фантазии, подала повод к созданию оригинальной драмы, состоящей из двух частей. В первой части все лица делаются несчастными, потому что мешают счастью друг друга, в другой же – те же лица являются перед нами совершенно в иных условиях, когда они помогают друг другу. Как только сестре стало лучше, Ковалевская предоставила ее попечениям мужа, вызванного опять из Парижа, а сама уехала в Стокгольм.

Теперь в голове ее царили две идеи: одна чисто научная, другая – литературная, вызванная самой жизнью. Трудно было одновременно заняться разработкой одной и осуществлением другой. По приезде в Стокгольм она старалась увлечь госпожу Эдгрэн своей идеей и действительно достигла своей цели, несмотря на то, что талантливая писательница занята была в то время своим романом «Вокруг брака». Ковалевская обдумала не только план драмы, но также содержание каждого отдельного акта, и, помимо того, ей принадлежало много мыслей и психологических находок. Каждый день они вместе прочитывали написанное г-жою Эдгрэн. Эта общая работа так увлекла Ковалевскую и так сблизила ее со шведской писательницей, что они были неразлучны. Мы

упоминали уже об этой драме и будем еще говорить о ней при оценке литературной деятельности Ковалевской. В первый раз это сочинение было прочитано в небольшом кружке друзей, и его нашли неудачным. Г-же Эдгрэн вообще меньше всего удавались драмы, а в этом случае она, конечно, не могла писать с тем увлечением, с каким обрабатывала идеи, возникшие в собственной душе. Они назвали эту драму «Борьба за счастье», и в уста Алисы, главной героини драмы, Ковалевская вложила выражение собственных мыслей и чувств. Г-жа Эдгрэн признавалась впоследствии, что совместная работа с Ковалевской была для нее мучительна, потому что по природе своей она как нельзя более склонна к уединенному труду. Проводя параллель между собой и Ковалевской, она замечает, что Ковалевская всегда и всё создавала под влиянием другого лица, – и это относится ко всему, сделанному ею в математике; даже лекции свои она читала лучше тогда, когда на них присутствовал Миттаг-Леффлер. Это замечание так важно при оценке таланта и самостоятельности заслуг Ковалевской, что мы не можем не принять его во внимание и теперь.

В жизни Ковалевской и в ее характере мы должны провести границу между главными чертами и, так сказать, частностями. Но при этом, конечно, мы должны соблюдать величайшую осторожность, потому что частности нередко скорее и больше бросаются в глаза, чем главные черты. Ковалевская была не только замечательным математиком, но и женщиной с привлекательной наружностью, привыкшей к услугам и к поклонению, а главное к тому, что окружающих интересует всё к ней относящееся. Это развило в ней привычку высказывать довольно откровенно свои ощущения и впечатления. Поэтому мы видим в ней много такого, что скрыто от наших глаз у других или замаскировано. Если бы знаменитые математики не имели привычки быть сдержанными в проявлениях своей внутренней жизни, то мы заметили бы те же явления у многих из них; живой обмен мыслей, поддержка и сочувствие играли также большую роль в деятельности гениальных мужчин, и не одно величайшее открытие обязано своим происхождением чисто внешним условиям и даже простой случайности: всем известна история упавшего яблока, обратившего внимание Ньютона на закон всемирного тяготения, или ванна Архимеда, из которой он вынес физический закон, названный его именем.

Возьмем более близкий пример: сочувствие Гаусса поддерживало нашего математика Лобачевского в его исследованиях. Укажем также на многих гениальных математиков, ощущавших потребность делиться своими мыслями с женщинами. Лейбниц употребил много усилий разъяснить свою теорию бесконечно малых величин Софии Ганноверской.

Д'Аламбер совершенно оставил одно время математику для совместного, более легкого труда с госпожой Леспинас. Эйлер с увлечением писал свои письма к немецкой принцессе о научных предметах. Эти факты всем известны, и никто не думал приписывать их умственной несамостоятельности великих людей. Сильную потребность совместного труда ощущали и ощущают многие ученые. Вейерштрасс также находил большое удовольствие в занятиях с Ковалевской. Можно сказать только, что Ковалевская высказывала эту потребность вследствие приведенных причин чаще и сильнее.

Поездка в Россию и разные житейские интересы и вопросы, с нею связанные, отвлекли на некоторое время Ковалевскую от ее главного труда в области математики, но при первой возможности она бралась за него снова к великому удовольствию Миттаг-Леффлера, который в первое время после приезда Ковалевской из России приходил в отчаяние, заставляя ее в гостиной с вышиванием в руках, – это вышивание всегда служило признаком усталости или погружения в сложные вопросы жизни. Весною 1887 года Ковалевскую снова вызвали в Россию к больной сестре, но на этот раз и у постели сестры она, насколько могла, не оставляла своих занятий, несмотря на крайне тяжелое настроение; она писала из Петербурга в Стокгольм:

«Я и теперь пробую работать по мере возможности и пользуюсь всякою свободною минутой, чтобы обдумывать свое математическое сочинение или изучать гениальные трактаты Пуанкаре. Я не могу заниматься литературою; все в жизни кажется таким бледным и неинтересным. В такие минуты нет ничего лучше математики».

В другом письме, относящемся к тому же времени, Ковалевская говорит, что зять ее наконец решился остаться в Петербурге до тех пор, пока жена его несколько поправится и ее возможно будет перевезти в Париж, причем сообщает, что все пережитое ею за последнее время совершенно отняло у нее желание развлекаться и отдыхать, и ей хотелось бы поселиться в уединенном месте, чтобы работать. По возвращении в Стокгольм у ней снова возникло желание совместного труда, притом с новой силой, несмотря на то, что первый плод такого труда – «Борьба за счастье» – потерпел полное фиаско. Ее дружба с Леффлер-Эдгрэн все росла и росла, но эта пылкая дружба, требовавшая полного слияния душ, стесняла свободу шведской писательницы настолько, что послужила одной

из причин, заставивших ее предпринять путешествие по Италии. Ковалевская, конечно, поняла это и почувствовала еще глубже свое одиночество. В 1887 году скончалась в Париже ее сестра, и она с грустью говорила, что со смертью сестры исчезла последняя связь, соединявшая ее с родительским домом, с детством: некому больше о ней вспоминать как о маленькой Соне, для всех она – госпожа Ковалевская, знаменитая ученая женщина!

При всем этом возникает, однако, один неизбежный вопрос. Как относилась Ковалевская к своей дочери, которой теперь было уже девять лет, и почему любовь к этому ребенку и заботы о нем не могли наполнить ее сердце и занять небольшие досуги, остававшиеся от занятий математикой? Девочка была здоровой, очень скоро освоилась со шведским языком, прекрасно училась в школе и не требовала никаких особенных забот и попечений...

Нам известно, что Ковалевская всегда относилась очень серьезно к своему ребенку и думала не только о его нуждах, но и удовольствиях; но девочка была еще мала и не могла делить с матерью ее чувств и мыслей. Напряженная деятельность в области математики делает нервными самых сильных мужчин. Немудрено, что Ковалевская чувствовала потребность в заботе и попечении.



## Глава IX

*Получение премии от Французской Академии наук и ординарной профессуры в Стокгольме. – Дружба с М. и ее последствия. – Сила страсти и сила воли. – Торжество главных стремлений. – Упадок физических сил и перемены в характере и настроении. – Болезнь и смерть. – Посмертные почести.*

Мы приближаемся к описанию самого счастливого и рокового года в жизни Ковалевской – 1888-го. Замечательно, что этот же год принес счастье и подруге Ковалевской, г-же Эдгрэн. Весной того же года шведская писательница вместе с профессором Миттаг-Леффлером и его женою совершила путешествие в Африку; на обратном пути, в Неаполе, она познакомилась с математиком маркизом Камподисага (впоследствии герцогом де Кайянелло), за которого года через полтора после того и вышла замуж. Эта новая, в высшей степени сильная привязанность отдалила г-жу Эдгрэн от Ковалевской; шведская писательница была одним годом старше нашей соотечественницы, и весьма понятно, что при виде сорокалетней женщины, встретившей новую сильную привязанность, у Ковалевской могла зародиться надежда найти еще и для себя в жизни нечто подобное. Ей хотелось испытать страсть, которой она не изведала в молодости, и это желание говорило в ней, несмотря на упорный умственный труд. Теперь она видела всю непрочность и несостоятельность пламенной дружбы с женщиной, и все же не могла отрешиться от стремления к исключительной привязанности. В это время она познакомилась со знаменитым норвежским путешественником Нансеном, и его личность произвела на нее впечатление. Это было в январе, а в марте того же года она встретила с другим человеком, которому суждено было играть важную роль в ее судьбе. В воспоминаниях г-жи Эдгрэн эта личность скрыта под инициалом «М.». Он – очевидно русский по своему происхождению и бывший профессор одного из наших университетов. Ковалевская так много видела в жизни своей выдающихся людей, что умела ценить их; поэтому легко можно допустить, что человек, который сразу произвел на нее сильное впечатление, был действительно замечательной личностью, но в то же время чисто русский с головы до ног. Не будь этого последнего, восхищение Ковалевской, может быть, не перешло бы в страсть, всегда связанную с кровной симпатией. Нельзя не сказать, что эта встреча была не вовремя и некстати.

В 1888 году Ковалевская должна была представить работу на премию Бордена во Французскую Академию наук. Ей предстояло выиграть это новое сражение, чтобы получить ординарную профессию в Стокгольме. Времени оставалось немного, и Миттаг-Леффлер сильно ее торопил. Сестра его говорит: «Мой брат чувствовал себя ответственным за все, что делала Ковалевская». И в это-то горячее время судьба свела ее с человеком, который вызвал в ней, по всей вероятности, неизвестные ей до того чувства. М. принадлежал к числу таких личностей, о которых говорят много и хорошего, и дурного. Сообщая подруге о его отъезде из Стокгольма, Ковалевская замечает: «Если бы М. остался в Стокгольме, я не знаю, право, удалось ли бы мне окончить свою работу. Он такой большой, такой *grossgeschlagen* и занимает так много места не только на диване, но и в мыслях других. К довершению всего, он – настоящий русский». Далее следуют похвалы его уму и оригинальности; из них видно, что М. представлял воплощенный рай вместе с демоном, без которого рай был бы скучен для Ковалевской. Несмотря на возникшее новое чувство, мучительное по своей несвоевременности, Ковалевская продолжала усердно работать. В конце мая в Лондоне она снова встретилась с М., и они вместе путешествовали по Гарцу, где навестили жившего в этой местности Вейерштрасса. Работа ее во Французскую Академию была отослана вовремя, но ей хотелось сделать новое исследование, относящееся к тому же вопросу, а привычка сообщать свои мысли Вейерштрассу обратилась у нее в глубокую потребность. В одном из писем своих к г-же Эдгрен она говорит:

«Мне встретилось неожиданное затруднение, с которым никак не могу справиться. Я уже писала Вейерштрассу и просила его помочь мне; если он не может этого сделать, я погибла».

Людей малознакомых с математикой такое отношение Ковалевской к Вейерштрассу может ввести в заблуждение; они в состоянии подумать, что она действительно была только ученицей Вейерштрасса в самом обыкновенном значении этого слова. Г-жа Эдгрен говорит же в своих воспоминаниях:

«Ковалевская изучала математику под руководством Вейерштрасса, и это оказало наиболее сильное влияние на все ее дальнейшие научные труды, потому что в основании всех их лежало направление, данное им; все они представляют или

дополнение, или развитие идей ее знаменитого учителя».

Замечание это справедливо только по отношению к первым работам Ковалевской. Вначале она, как и все молодые математики, была только ученицей Вейерштрасса, но, во всяком случае, одной из самых выдающихся. Долгий перерыв в занятиях во время пребывания в России поселил в ней то недоверие к себе, о котором мы уже говорили, – она думала, что очень отстала в математике. Может быть, это и было так в первое время, но, во всяком случае, она скоро наверстала потерянное и в последнем труде заявила о себе вполне самостоятельным математиком; если же она обращалась по-прежнему к Вейерштрассу, то делала это просто по привычке. Предметы, которыми она занималась в последние годы, даже выходили из области занятий Вейерштрасса, и, как нам достоверно известно, сам Вейерштрасс признает себя вполне непричастным к решению труднейших математических задач своей любимой ученицей. Что касается трудностей, о которых говорится в приведенном письме, она, по словам Вейерштрасса, сама справилась с ними как нельзя лучше, и никто из известных математиков не отрицает самостоятельности и оригинальности последних работ Ковалевской. На глазах у всех она работала и истощала себя непосильной работой по ночам. Все друзья ее, математики, знали, что она работает на премию; окончание труда сделалось для нее уже вопросом чести, и ей приходилось отдавать слишком много времени работе, даже в присутствии М. В то же время она замечала охлаждение к себе в человеке, которого любила. Ревность всегда была как нельзя более свойственна Ковалевской, а теперь она выказывалась с особенной силой и страшно ее мучила. Предмет ее страсти пользовался репутацией безусловного покорителя женских сердец. Многие слухи заставляли ее подозревать измену, и дело, конечно, не обходилось без упреков. На упреки ей отвечали упреками: она тоже была виновата, не желая всецело отдаться любви; ее обвиняли в тщеславии. По временам она верила этой отговорке, и в такие горькие минуты сознавалась, что научные занятия мешают ее счастью. Но в сущности счастью Ковалевской мешало только то, что ее не любили, – и она это чувствовала. Она возбуждала интерес, ее привязанность гордились; но это было далеко не то, чего она желала. Как бы то ни было, Ковалевская думала, что ради науки жертвует страстью любимого человека, и все-таки жертвовала. Из одного этого мы видим, что наука от самых юных лет и до конца жизни была ее *главным* стремлением, – из чего, однако, не следует, что у нее не должно было быть других желаний.

В конце 1888 года на торжественном заседании Французской Академии наук Ковалевская в присутствии знаменитых ученых принимала Борденскую премию, а в январе 1889 года писала к Миттаг-Леффлеру в Стокгольм: «Со всех сторон мне присылают поздравительные письма, а я, по странной иронии судьбы, ни разу в жизни не была так несчастна, как теперь».

Приблизительно в то же время известный математик Дюбуа-Реймон писал о ней следующее в одной берлинской газете:

«Семьдесят два года тому назад в научном мире совершилось редкое событие. Ежегодно все пять парижских академий, из которых состоит Institut de France, собираются вместе для *присуждения* больших премий и для *назначения* новых. В упомянутый год в одной из пяти академий, именно в Академии наук, Наполеоновская премия была присуждена девице Софи Жермен за математическое исследование колебания упругих поверхностей. Немногочисленны были предшественницы девицы Жермен на математическом поприще. Зависит ли это оттого, что женщина вообще меньше способна преодолевать такого рода отвлеченные трудности, или обуславливается тем, что им редко представляется возможность проявить свои способности, т. е. редко они получают такое математическое образование, при котором может проявиться сильное призвание к этой науке?.. Как бы то ни было, г-жа де Шателе и девица Софи Жермен были единственными женскими именами, известными в истории математики в последнее время.

В 1888 году, 24 декабря, совершилось в Париже нечто подобное, но еще несравненно более замечательное. Академия наук присудила одну из своих наибольших премий женщине, и еще увеличила размеры этой премии. Удостоена этой премии г-жа Ковалевская, урожденная Корвин-Круковская, доктор философии и профессор математики в Стокгольмском университете, в котором она уже в продолжение пяти лет читает лекции из области труднейших предметов математики. Она не только превзошла своих упомянутых предшественниц, но, можно сказать к ее чести, заняла между современными математиками одно из самых видных мест. Она получила премию за решение вопроса о вращении твердого тела под влиянием действующих на него сил; из трех представляющихся здесь задач две были

решены Лагранжем, Ковалевской принадлежит решение третьей задачи, наиболее сложной; в то же время она доказала, что последним случаем исчерпываются средства современного анализа».

Автор упоминает здесь о замечательной женщине Софи Жермен, жившей в Париже в начале XIX века. Она, бесспорно, отличалась огромными дарованиями, но была почти самоучкою в математике, и знания ее страдали многими пробелами. Ковалевская оказалась несравненно счастливее в этом отношении: у нее было солидное, правильное математическое образование. Замечательно, что талант Софи Жермен развился под влиянием энциклопедистов, защитников женских прав, а Ковалевская начала заниматься математикой в то время, когда в России «женский вопрос» находил себе так много горячих поборников.

В сентябре 1889 года Ковалевская продолжила свою деятельность в Стокгольме уже в качестве ординарного профессора. Она больше не нуждалась в субсидиях, и ее сторонники могли только ею гордиться: она принесла честь женщине и русскому имени, но эти годы усиленного труда и страшной внутренней борьбы не прошли для нее даром. Она сильно изменилась, блестящее остроумие и шутливость исчезли, морщина на лбу сделалась глубже; она смотрела мрачно, рассеянно, и глаза ее совершенно лишились блеска. Она стала чуждаться не только посторонних, но и своих близких, искренних друзей и находила утешение только в усиленной работе, попеременно занимаясь то математикой, то литературой, смотря по настроению. Ее красная гостиная опустела, и даже дочь видела свою мать только за обедом и ужином, что очень огорчало девочку. К довершению всего, во время свирепствовавшей в Стокгольме эпидемии инфлюэнцы Ковалевская схватила такой кашель, что никак не могла от него отделаться; после болезни она страшно похудела, на лице появились новые морщины, и щеки ее ввалились. Из-за своего подавленного настроения она не береглась и запустила болезнь. Много вопросов решила она в своей жизни, но один оставался у нее нерешенным: отчего ее не любят, когда это счастье выпадает на долю самых ничтожных женщин?

По своей склонности к обобщениям она смотрела и на этот вопрос с общей точки зрения и искала очевидных доказательств. Но лучше было бы спросить, отчего, несмотря на все свои старания, она не может внушить страсти любимому ею человеку? Конечно, причиной были неуловимые и неопределимые индивидуальные свойства ее и данного человека, и менее всего виновата в этом была математика...

Весною Ковалевская, чтобы рассеяться, отправилась с г-жою Эдгрэн в Париж, куда приехала летом и ее подруга из России. Но ни прошлое, ни настоящее ее не занимало, и всегда так любимый ею жизнерадостный Париж в то время не произвел на нее никакого впечатления, – она не интересовалась нисколько даже Парижскою выставкой, хотя и сказала блестящую речь на женском конгрессе. Вскоре после этого судьба опять свела ее с М., радостные надежды снова воскресли в ее сердце, но ненадолго: она, казалось, убедилась, что оба они никогда не поймут друг друга, и вернулась в Стокгольм, намереваясь работать больше прежнего.

В апреле 1890 года Ковалевская отправилась в Россию. Мы уже говорили, что Ковалевская всегда была путеводною звездой всех женщин, стремившихся к высшему образованию, но с тех пор, как получила профессуру, она возбуждала *общий* интерес, который все возрастал и сопровождался энтузиазмом: особенно же чествовали ее в этот последний приезд в Россию в Гельсингфорсе и в Петербурге. И она сама высказала большое участие к интересам своей родины в статье «О крестьянском университете в Швеции» и в своей речи в петербургской думе, в которой она в ответ на речь петербургского головы сказала, как ее радуют успехи в распространении народного образования в России. В том же году она была избрана членом-корреспондентом С. – Петербургской Академии наук, причем энергичными сторонниками ее избрания были всегда благосклонный к ней Чебышев, Имшенецкий и Буняковский. Ковалевская не особенно поражена была этой честью, она ожидала большего от своей родины...

В разговорах с близкими друзьями Ковалевская заявляла, что решила во что бы то ни стало не прерывать своих занятий и оставаться в Стокгольме, но у нее не хватало сил не видеться с М.; она оправдывала себя тем, что это был, во всяком случае, самый приятный друг и товарищ. Русский друг все более и более вытеснял из ее сердца искренних стокгольмских друзей, которых такая перемена глубоко огорчала. Миттаг-Леффлер, переехавший в это время в Диурсхольм, убеждал Ковалевскую нанять квартиру там же, поблизости от него, как она всегда делала, но на этот раз она заупрямилась, говоря, что не стоит, так как она чувствует, что ей недолго остается жить в Стокгольме. На свое пребывание в этом городе она смотрела теперь как на пытку, и ее все тянуло в Италию – местопребывание ее друга. Новый 1891 год Ковалевская встретила в Генуе вместе с ним, по ее желанию, на «мраморном» кладбище. Она страдала настолько сильно, что желала смерти себе или любимому ей человеку. Это было, конечно, неисцелимое горе не только для нее, но и для М. Он не мог

для нее переродиться: не в его власти было зажечь в своем сердце ту страсть, которой она желала. И можно себе представить, что не одна она страдала; положение М. было также тяжелым. Поглощенная своей внутренней трагедией, Ковалевская совершенно не обращала внимания на окружающее, и путешествие ее из Генуи в Стокгольм было для нее во всех отношениях мучительным: она ежеминутно платилась за свою рассеянность и схватила дорогой сильную простуду. Несмотря на начинавшуюся болезнь, Ковалевская тотчас по приезде в Стокгольм провела целый день за работой, а на другой день, едва держась на ногах, читала лекции, которые она вообще пропускала только в самом крайнем случае. Выносливость ее доходила до того, что вечером она отправилась на ужин в обсерваторию. И в первые дни своей смертельной болезни она владела собой настолько, что сообщала друзьям план своих новых работ.

Миттаг-Леффлер говорит, что в уме Ковалевской зрела идея новой математической работы, которая должна была превзойти все сделанное ею до тех пор, а Эллен Кей утверждала, что слышала от нее содержание многих прекрасно задуманных повестей.

Болезнь ее развивалась с удивительной быстротою, она впадала в беспамятство и даже не имела возможности думать о смерти, которой всегда так страшилась; только в последний день своей жизни она сказала: мне кажется, я не вынесу этой болезни, со мной должна произойти какая-то перемена. У нее обнаружилось сильное воспаление легких. Недостаток дыхания увеличивался наследственным, хотя и весьма легким, пороком сердца. Страдания свои она переносила кротко и терпеливо, выражала благодарность окружающим ее друзьям и боялась их беспокоить. Ее дочери предстояло в эти роковые дни отправиться на детский вечер, и мать просила своих друзей позаботиться о костюме для своей девочки. Девочку, одетую в цыганский костюм, подвели к ее постели, и она ей ласково пожелала веселиться, а через несколько часов ребенка разбудили прощаться с умирающей матерью. Ковалевская скончалась для всех неожиданно, ночью 29 января 1891 года, на руках сиделки. Смерть ее вызвала общее сожаление. Из всех стран цивилизованного мира поступали в Стокгольмский университет телеграммы, и одною из первых была телеграмма от Петербургской Академии наук. В России, разумеется, эта смерть произвела сильное впечатление на всех образованных людей. Первая панихида по Ковалевской была отслужена в здании Петербургских женских курсов; мы уже говорили, что в первые годы своего пребывания в Петербурге она очень усердно занималась устройством Высших женских курсов и некоторое время состояла членом комитета; но не одни

профессора и слушательницы курсов присутствовали на этой панихиде, было также много посторонних лиц из числа друзей покойной и женщин, получивших высшее образование за границей, – Ковалевская для всех них была гордостью и радостью. Академик Имшенецкий сказал речь о научных заслугах Ковалевской.

В то время как в России почти повсеместно служили панихиды по Ковалевской, посылали венки и адреса в Стокгольм даже из таких отдаленных мест, как Тифлис, ее петербургские почитатели и почитательницы составили комиссию для установки ей памятника и занялись судьбой ее дочери. И русские, и иностранные газеты и журналы печатали в память о Ковалевской статьи, проникнутые глубоким удивлением к ее способностям. Из Стокгольма ежедневно приходили корреспонденции с описанием почестей, воздаваемых нашей соотечественнице в чужой стране. Ее погребение было обставлено необыкновенной торжественностью, на могиле ее образовалась целая насыпь цветов и сказано было много глубоко прочувствованных речей, в числе которых особенно выделялась своей задушевностью речь Миттаг-Леффлера. При погребении присутствовал также русский друг Ковалевской, ее однофамилец М. М. Ковалевский; он сказал речь на французском языке и выразил от лица всех русских благодарность Швеции и молодому Стокгольмскому университету за то, что здесь открылась возможность для Ковалевской достойным образом проявить свои познания. Он упомянул также о том, что служа Швеции и изучив математику в Германии, Ковалевская до конца оставалась русскою и любила Россию. Действительно, она часто говорила своим друзьям в Швеции, какое великое лишение для нее составляет отсутствие возможности говорить по-русски; за границей она везде чувствовала, что мысль ее заключена была в тесную клетку – от невозможности выразить ее на чужом языке.

Вскоре после смерти Ковалевской мы узнали о результатах вскрытия ее тела: легкие ее оказались совершенно пораженными острой болезнью, все другие органы найдены в таком состоянии, что обещали ей долгую жизнь. Мозг ее своим весом и присутствием в нем множества извилин вполне подтвердил общее мнение о высоком развитии ее умственных способностей.

Госпожа Эдгрен (герцогиня де Кайянелло), утешая себя в преждевременной смерти Ковалевской, говорила: «Коротка или продолжительна жизнь – это вопрос второстепенный; вся суть в том, насколько она богата содержанием – для себя и для других. А при такой точке зрения жизнь Ковалевской длиннее жизни большинства людей. Она



жила ускоренной жизнью, пила полною чашей из источника счастья и из источника горя».

Все это справедливо, но с ограничением, и относится исключительно к последним семи годам жизни Ковалевской. Если бы г-жа Эдгрэн знала Ковалевскую в Петербурге, то не заметила бы ничего ускоренного в ее образе жизни, – в то время, напротив, можно было сказать, что все силы ее дремали. Например, она имела тогда несравненно больше досуга заниматься литературой, чем потом в Швеции, однако же, ничего не печатала, даже ничего не писала в то время. Она вообще тогда не торопилась, как будто рассчитывала на весьма долгую жизнь. В молодости своей она много училась, работала, но, как мы видели, в то время жизнь ее была небогата внешними событиями, и всего менее можно сказать, что она жила тогда полной жизнью. Вообще, жизнь Ковалевской шла, так сказать, полосами, и под влиянием различных условий выступали то те, то другие черты ее сложной и своеобразной природы. Несмотря на это, как мы уже говорили, у нее всегда, с самых юных лет, были высшие запросы к жизни, стремления к поиску истины, и они постоянно брали перевес над всеми другими желаниями. Это было, бесспорно, ее *главной* чертой. Чтобы убедиться в этом, мы должны проследить всю ее жизнь, а не брать какие-нибудь отдельные ее периоды. Мы видим, что в последние три года своей жизни она сильно боролась с влечением своего сердца, и ей дорого стоили ее победы над ним. Но в это время страшной внутренней борьбы она не только продолжала работать, но оказала науке такие важные услуги, которые никогда не будут забыты. *Так* работать в *такое* время могут только очень немногие, одаренные не только творчеством, но и сильной волей. И уже один этот факт говорит нам, что, несмотря на все свои чисто женские слабости, Ковалевская была очень сильным человеком, и можно было надеяться, что, победив окончательно свою «несвоевременную» страсть, она воспрянула бы и отдалась одной науке.

Мы говорили о ее твердом решении во что бы то ни стало остаться в Стокгольме. Главное было и в этом отношении сделано, а остальное довершило бы время; оно изгладило бы последствия борьбы, и Ковалевская перестала бы чувствовать одиночество в присутствии подраставшей дочери. Но, к несчастью, множество мелких случайностей повлекли за собой скоротечную и смертельную болезнь...

Ковалевская занимала такое видное место, что всё касающееся ее вскоре становилось общим достоянием, и потому отношения ее с М. недолго оставались тайной. Воспоминания о Ковалевской герцогини де Кайяnellо только подтвердили относящиеся к этому слухи и произвели на

большинство почитателей Ковалевской тяжелое впечатление; многие заявляли, что лучше было бы не знать об этой стороне ее жизни. Мы не разделяем такого взгляда и вполне уверены, что будь эта запоздалая любовь счастливой и выйди Ковалевская замуж за М., к ней отнеслись бы значительно мягче. Так, например, никто не думает осуждать г-жу Эдгрэн, вышедшую замуж за герцога де Кайянелло; однако шведская писательница была годом старше Ковалевской. Во всем этом играют также большую роль привычные взгляды и предрассудки: то, что считается простительным романистке, непозволительно женщине – профессору высшей математики. По нашему же мнению, любить, болеть и умирать одинаково свойственно и позволительно и той, и другой. Относительно Ковалевской мы могли только бы желать, чтоб она из-за *своего личного чувства* не изменяла своим *главным* стремлениям, и она это как нельзя лучше выполнила, ни на минуту не переставая быть научным деятелем и передовым борцом с женской дискриминацией. Пусть ее обвиняют в том, что она своими частыми путешествиями с М. давала повод слишком много говорить о своих отношениях к нему; но она в этом случае действовала вполне последовательно, говоря, что готова подчиняться во всем шведским нравам и обычаям, когда дело не касается важных вопросов ее жизни. В данном случае ей было необходимо ближе узнать человека, чтобы потом придать известную форму своим отношениям с ним, и ей мало было дела до того, что о ней будут говорить, – заглядывая в далекое будущее, она не заботилась о том, что забудется легко и скоро. Ни одному из замечательных людей не удалось избежать пересудов и клеветы своих современников, но мало-помалу все это тленное исчезает и остается только главное – истинное. Пройдет каких-нибудь двадцать лет, и никто не подумает осуждать Ковалевскую за ее частые путешествия в Италию; все будут рассматривать ее недолгую жизнь как непрерывный, неуклонный путь к познанию. Мы вполне уверены, что жизнь многих других замечательных людей кажется такой прямолинейной лишь оттого, что мы не знаем всех мелочей и подробностей, которые так часто сбивают нас с толку и мешают сосредоточивать внимание на главном.

В заключение этого очерка *жизни* Ковалевской мы скажем несколько слов о ее нравственной личности. В сфере нравственности, как и во всем остальном, следует отличать незыблемое, коренное от всего переменного и условного. Жизнь Ковалевской, конечно, не так безупречна, чтобы *княгине Марье Алексеевне было нечего о ней сказать дурного*. Шведский поэт Фриц Леффлер в своем стихотворении назвал ее «огненной и мыслящей душою». Вследствие своего горячего темперамента она при своих поступках *не*

всегда принимала во внимание интересы других, но такие поступки во всяком случае составляли исключения в ее жизни. Она умела и жертвовать собою для любимых ею людей: припомним ее отношения с сестрой, ради которой ей так часто приходилось не только оставлять любимые занятия, но иногда подвергаться опасности, как, например, во время осады Парижа. Она любила правду, и поэтому фиктивный брак отозвался на ней тяжелее, чем на всякой другой женщине. Ее отчуждение от мужа в последние годы также в значительной степени объясняется развившейся в нем вследствие душевной болезни сильной неискренностью, которой она, не зная ее причины, не могла дольше выносить. Ковалевская любила людей и свою родину и поэтому, как бы мы строго ее ни судили, она окажется непогрешившей против *коренных и непреложных* законов нравственности.

## Глава X

***Приблизительное понятие об ученых заслугах. – Общий характер математики XIX века. – Роль Вейерштрасса в современной математике. – Три работы Ковалевской, написанные ею в молодости: их общий характер. – Дальнейшая научная деятельность и ее значение в истории науки. – Несколько слов о литературной деятельности.***

Мы уже не раз замечали, что жизнь и научная деятельность всякого ученого неразрывно связаны между собою, а потому говоря об одной, приходится то и дело обращаться к другой. В предыдущих главах было показано, при каких условиях у Ковалевской возникло и развилось призвание к математике и какое влияние имело оно на главнейшие события ее жизни. Мы знаем также, при каких условиях создавались отдельные ее труды. Но всего этого, конечно, недостаточно, чтобы составить себе понятие о значении их в истории науки. Мы уже говорили в предисловии, что для действительной оценки деятельности замечательного человека необходимы особые, специальные познания, и те люди, которые обладают только общим образованием, могут рассчитывать лишь на приблизительное понятие о такой деятельности; но последнее, при несовершенной полноте, может быть верным. Поясним это различие примером. Если мы выражаем отношение окружности к диаметру числом 3,14, это будет очень приблизительное отношение, но в то же время верное. Если же мы вместо этого числа возьмем число четыре – это будет *неверно*, потому что, согласно доказательству, отношение окружности к диаметру *больше* трех и *меньше* четырех. Если мы с числом 3,14 сравним 3,1415926535, то последнее будет значительно точнее первого, но при всем том первое сохраняет свою верность. И здесь, как и при оценке научной деятельности Эйлера, Д’Аламбера и других, мы постараемся дать очень приблизительное, но верное понятие о научных заслугах Ковалевской. Для этого нам прежде всего необходимо сказать несколько слов об отличительных особенностях математики XIX века.

Из истории математики известно, что люди очень медленно приближались к обобщениям и доходили до отвлеченных понятий; долгое время они под именем числа разумели только целое положительное число и не соглашались назвать числом даже дробь. Стремление к обобщению, развиваясь медленно, однако всё шло вперед, и понятие о числе распространилось мало-помалу не только на дроби, но появились также

числа отрицательные, мнимые и комплексные. То же обобщение и та же отвлеченность появились во взглядах на различного рода зависимости между величинами, или *функции*. Гаусс и Коши в первой четверти XIX века положили начало теории зависимостей, или функций. Гаусс был аналитик, геометр и физик; деятельность его была настолько многосторонней, что он не имел возможности посвящать много времени теории функций. Другой знаменитый математик, Риман, ученик Гаусса, обладавший глубоким философским умом, явился славным продолжателем трудов Гаусса и Коши, но его теория функций отличается большой сложностью и трудностью для изучения. Абелю и Якоби также принадлежат гениальные труды по теории функций. Многие другие великие математики XIX века с удивительным талантом прилагали понятия из теории функций к физике и механике, оставляя в стороне усовершенствование самой этой теории. Берлинскому же профессору Вейерштрассу принадлежит честь обоснования этой теории на *простых* и *доступных* началах. Его считают по ясности и строгости приемов прямым продолжателем Лагранжа. Вейерштрассу удалось создать теорию функций средствами одного анализа, без помощи геометрического метода, и тем оправдать мысль Гаусса о полной самостоятельности анализа. В молодости своей Вейерштрасс изучал труды пражского философа Больцано, относящиеся к философии математики. Больцано не был понят и оценен в свое время, но теперь имя его пользуется большой известностью среди учеников Вейерштрасса.

Двадцать лет тому назад из всех немецких математиков Вейерштрасс пользовался наибольшей популярностью у молодых немецких ученых, он создал школу, которая и тогда была довольно многочисленна, но все же и в то время в Германии легко было встретить талантливого математика, не принадлежавшего к школе Вейерштрасса. Его ученики, как и он сам, преимущественно занимались чистой математикой. С годами влияние Вейерштрасса увеличивалось и распространялось с удивительной быстротой. Он дал в руки математиков крайне простые и могучие средства для решения самых сложных вопросов, и вскоре ими начали пользоваться молодые люди, не принадлежавшие к его ученикам. Ученики же Вейерштрасса, убежденные в справедливости его воззрений, явились истинными апостолами его учения. Оно проникло в Швейцарию, Италию, Швецию и Норвегию, Америку и, наконец, во Францию. В 1885 году торжественно праздновался юбилей Вейерштрасса, на котором его громадное влияние на современную нам математику обнаружилось во всей своей силе. Его методами теперь пользуются все талантливые математики Западной Европы и Америки и в этом смысле они с гордостью называют

себя учениками Вейерштрасса. Такою же ученицею Вейерштрасса была и Ковалевская в позднейшие годы своей жизни – с той разницей, что она, находясь в непрерывном дружеском общении со своим знаменитым учителем, располагала и теми его приемами, которые по новизне своей не были известны другим математикам. Вейерштрасс не скоро и как-то неохотно печатал результаты своих глубоких размышлений, но всегда говорил о них с лицами, посещавшими его дом.

Воззрения Вейерштрасса в области теории функций отразились также и на состоянии дифференциального и вариационного исчисления и произвели в них настоящий переворот; то же самое относится и к аналитической геометрии, успехи которой тесно связаны с развитием анализа. Во всех этих областях Вейерштрасс нашел талантливых последователей, и некоторые из них по силе своего ума, может быть, даже не уступают своему учителю. Несмотря на это, ни один из них не произвел нового переворота в математике, потому что такой переворот обуславливается не только силой ума, но также временем и его требованиями. Когда общие идеи даны, то всем приходится заниматься их дальнейшим развитием и приложением до тех пор, пока не будет исчерпано и то, и другое. Таким именно было состояние математики в Европе, когда Ковалевская вступала на математическое поприще.

Все эти высказанные нами замечания общего характера необходимо иметь в виду при оценке заслуг Ковалевской в области чистой и прикладной математики.

Научную деятельность Ковалевской удобно и естественно разделить на два периода: первый – до отъезда в Россию в 1874 году и второй – после приезда из России за границу в начале восьмидесятых годов. В молодости она почти исключительно занималась чистой математикой.

Вейерштрасс, отличающийся удивительной способностью готовить к самостоятельным занятиям математикой, в первое время упражнял Ковалевскую в решении легких, но все же новых вопросов, развивая в ней различные навыки; затем она под его руководством постепенно переходила к более самостоятельным работам; самые первые труды ее не были напечатаны. Мы уже говорили, что Ковалевская представила Геттингенскому университету три самостоятельные работы: «О дифференциальных уравнениях с частными производными», «Об Абелевских интегралах» и «О форме кольца Сатурна»; первым же напечатанным трудом была ее диссертация «О дифференциальных упражнениях с частными производными», появившаяся в 80-м томе журнала Крелля, издаваемого в Берлине. Этот труд настолько замечателен,

что из него сделано подробное извлечение и помещено в курсе Гурза, изданном на французском языке в 1891 году в Париже. Предмет, к которому он относится, считается труднейшим в области чистой математики и помимо того представляется существенно важным для механики, физики и астрономии.

Перевод этого труда с немецкого языка на французский через семнадцать лет после его появления ясно свидетельствует о его важности.

Пуанкаре, считающийся теперь одним из первых математиков в Европе, выразился так об этом труде: «Г-жа Ковалевская в значительной степени упростила теорему Коши и дала ей окончательную форму».

Когда Ковалевская напечатала это сочинение, ей было двадцать четыре года. И тогда она уже в совершенстве владела всеми методами нового анализа, которые ей такгодились впоследствии.

Вторая работа Ковалевской принадлежит к теории Абелевых интегралов и также относится к очень трудной области математики. В этой работе она пользуется неизданными тогда трудами Вейерштрасса и при помощи данных им средств решает весьма сложную задачу с большим знанием и искусством. Это – та самая работа, которая, несмотря на свою важность, так долго пролежала в ее портфеле и была напечатана в «Acta Mathematica» в 1884 году, то есть ровно через десять лет после своего окончания. Но раньше, в 1879 году, Ковалевская читала реферат этого труда еще на съезде естествоиспытателей в Петербурге, и тогда, помнится, многие русские математики, малознакомые с методами Вейерштрасса или предубежденные против них, стали к ним относиться с большею мягкостью и с большим интересом. Вообще же, Россия осталась как-то в стороне от влияния Вейерштрасса, следуя направлению собственных светил науки. Но Ковалевская никогда не могла примкнуть к русской школе математиков, несмотря на свое уважение к русским ученым.



**Федор Иванович Шуберт, академик Петербургской Академии наук.**

Третья работа Ковалевской, относящаяся к первому периоду ее деятельности, посвящена по своему содержанию астрономии, – вероятно, в память деда, астронома Шуберта, она взялась за аналитическое решение одного астрономического вопроса. В этом первом приложении анализа она получила результаты, представляющие ценный вклад в науку. И такая работа пролежала у Ковалевской под сукном 11 лет! Она относится к трудному вопросу астрономии о форме кольца Сатурна и напечатана в 1885 году в «Astronomische Nachrichten».<sup>[2]</sup> Лаплас в своей «Небесной механике» предполагает, что кольцо Сатурна состоит из нескольких жидких колец, имеющих форму тел вращения и симметричных относительно плоскости экватора планеты. Великий математик решает задачу о форме колец очень остроумно и просто, но с недостаточной точностью. Ковалевская задалась мыслью исследовать вопрос о равновесии кольца с большей точностью и повела исследование так, что дала возможность определить форму кольца с какой угодно точностью. Она нашла для меридионального сечения кольца две формы, отклоняющиеся от эллипса Лапласа. Эта работа доставила ей



большую известность и в значительной степени содействовала популярности метода Вейерштрасса, применение которого в руках талантливой ученицы дало такие блестящие результаты. В настоящее время многие молодые математики во Франции занимаются дальнейшим развитием мыслей Ковалевской, высказанных в этом труде. Из того, что мы сказали, очевидно, что Ковалевская и этими тремя работами завоевала бы себе почетное место в рядах научных деятелей еще в семидесятых годах, если бы все эти труды были тогда же напечатаны. Несмотря на долгий промежуток времени между этими работами и принадлежащими ко второму, последнему периоду, в них есть много общего. Первою работой второго периода явилось исследование о распространении световой волны в средах двойной преломляемости. Эта работа представляет как бы продолжение ненапечатанного труда Вейерштрасса. Учитель уступил свою работу любимой ученице, так что статья Ковалевской начинается изложением результатов, найденных Вейерштрассом. Она с педантичной строгостью отделяет результаты, найденные ее учителем, от того, что сделано ею самой. Этот труд есть аналитическая обработка физических гипотез Ляме. Он напечатан в «Acta Mathematica», в нем Ковалевская проявила все свои обычные свойства и упорство мысли; но, по общему мнению, в этом случае был бы более уместен геометрический метод как более простой.

Главный труд Ковалевской относится к аналитической механике. Он увенчан премией Французской Академии наук.

Анализ, употребленный ею в данном случае, настолько прост, что, по мнению профессора Жуковского, его следует включить в курсы аналитической механики. За этой работой все единогласно признают бесспорные заслуги, которые навеки останутся связанными с именем Ковалевской. Всю важность этого открытия невозможно понять людям, не знающим аналитической механики. Таких людей мы просим обратить внимание на *имена* ученых, сотрудником и продолжателем идей которых явилась Ковалевская: Эйлер, Пуансо и Лагранж! Решенный ею вопрос был самым сложным из всех. Для славы имеет большое значение не только сила ума и таланта, но также сам предмет, на который они направлены, и можно с уверенностью сказать, что оставаясь Ковалевская в области чистой теории, ее имя никогда не приобрело бы такой известности. Кроме того, в этой работе она далеко отошла от Вейерштрасса, никогда не занимавшегося такими вопросами, и явилась вполне самостоятельным ученым. Для того чтобы составить себе понятие о плодотворности этого труда, приведем следующее мнение профессора «чистой» математики Некрасова:

«Талантливое открытие Ковалевской, относящееся к примечательному случаю движения твердого тела, не есть только случайная, счастливая находка; напротив того, открытие это есть результат ее настойчивых, упорных трудов и глубоких знаний в области чистой математики и особенно современного анализа. В самом деле, в этом счастливом открытии ее ей помогли те знания, которые она проявила в своих первых трудах».

За этот труд, как нам уже известно, Ковалевская удостоена была увеличенной премии Французской Академии наук. Этой работой начиналась новая фаза ее деятельности. Она упорно продолжала заниматься этим предметом, и в 1889 году за два сочинения, состоящие в связи с той же работой, получила премию от Стокгольмской Академии наук.

Пуанкаре и другие первоклассные математики с большим интересом следили за результатами ее работ. Несмотря на все это, по общепринятому мнению, Ковалевская не принадлежала к гениям математических наук – не произвела реформы, но была, бесспорно, равной самым талантливым из математиков-мужчин нового времени, так как она глубоко проникала в существующие методы науки, искуснейшим образом пользовалась ими, распространяла и развивала их, делая совершенно новые, блестящие открытия, и легко справлялась с громаднейшими затруднениями. Мы готовы были бы согласиться с тем, что Ковалевская не принадлежала к гениям, если бы она не умерла так рано, в те годы, когда и ее знаменитый учитель не успел еще создать никакой математической школы и произвести реформы в современном анализе. Когда человек умирает в лучшую пору своей жизни – в то время, когда талант способен еще развиваться, – то весьма трудно определить, до чего бы он мог дойти, если бы продолжал жить. Что касается великих преобразований, то мы вполне уверены, что они обуславливаются также временем и вызываются состоянием науки.

Многие утверждают, что Ковалевская получила большее воздаяние за свои заслуги, чем любой мужчина, сделавший не меньше нее для науки. Однако если мы оставим в стороне овации и чествования, то увидим, что она, собственно говоря, получила только должное: ей дали ординарную профессию за два года до смерти и за труд, принесший ей бессмертную славу. Ей досталась увеличенная премия, потому что она вместо продвижения вперед в решении вопроса, как того требовала Академия, дала полное его решение. Правда, она пять лет получала частную субсидию в Швеции от людей, преданных делу борьбы с женской дискриминацией,

но зато она и послужила этому делу как никто!

Нам остается сказать несколько слов о литературной деятельности Ковалевской, которая служила ей отдыхом; при этом мы ограничимся ее сочинениями, напечатанными на русском языке: 1) «Воспоминания детства»; 2) «Воспоминания о Джордж Элиот»; 3) «Три дня в крестьянском университете в Швеции»; 4) «Vae victis» <sup>[3]</sup>, «Письмо в неизвестную редакцию»; 5) «Отрывок из романа, происходящего на Ривьере»; 6) несколько фельетонов, напечатанных в «Новом времени» и в «Русских ведомостях»; 7) драма «Борьба за счастье», написанная совместно с А. К. Леффлер и изданная в Киеве, в переводе Лучицкой.

Оригинальность мысли и формы, живость рассказа, тонкий психологический анализ и обилие глубоких мыслей придают всему, что вышло в этом роде из-под пера Ковалевской, неизъяснимую прелесть. Многие из этих сочинений были напечатаны по-шведски, другие переведены на французский язык, и на всех языках, на которых они существуют, их читают с большим интересом. Русской публике эти сочинения симпатичны также по убеждениям, проявившимся в них с большой ясностью и доказавшим, что, несмотря на свое долгое пребывание за границей, Ковалевская осталась неизменно верной традициям шестидесятих годов.

Но писать то, что видел, думал и чувствовал, – совсем не то, что создавать литературные классические произведения. Все упомянутые сочинения не дают Ковалевской никакого определенного места в истории нашей литературы, хотя и наводят на мысль, что Ковалевская имела, по-видимому, все данные создать и здесь нечто крупное, выдающееся. В числе упомянутых произведений мы находим только начала задуманных Ковалевской повестей, по которым трудно судить, каковы бы они были, если бы она их закончила. Один английский журнал утверждает, что повесть Ковалевской «Вера Воронцова» оставлена ею в совершенно обработанном виде, но, к сожалению, она не появилась в русской печати, и поэтому говорить о ней мы считаем неудобным.

Помимо несомненных литературных достоинств, беллетристические произведения Ковалевской имеют глубокий исторический интерес как памятник замечательного времени, относящегося к царствованию Александра II.

Заклучим наш очерк. Мы сказали всё то, что нам *достоверно* известно о Ковалевской, следуя при этом ее собственному девизу: «Dis ce que tu sais, fais ce que tu dois, adviendra que pourra!» («Говори, что знаешь; делай, что обязан; и пусть будет, что будет!»).

<b>notes</b>

## Примечания

**1**

буквально: мрачная горная вершина (*нем.*)

«Астрономические вести» (нем.).

«Горе побежденным!» (лат.)